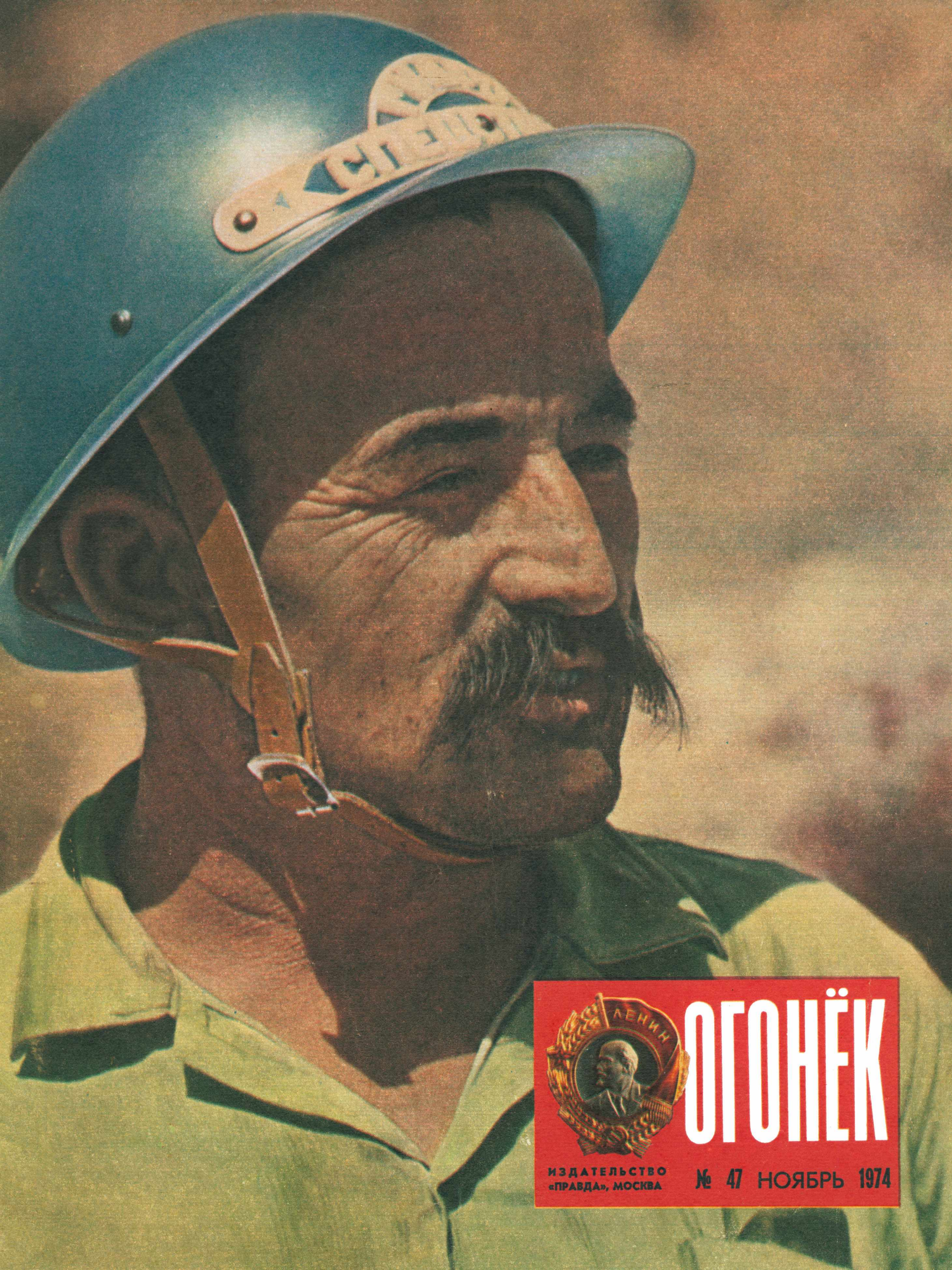
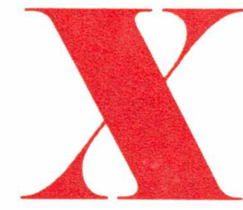

ЛЕНИН
ОГОНЁК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА
№ 47 НОЯБРЬ 1974

В счет миллиарда. Фото А. СЕМЕЛЯКА.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

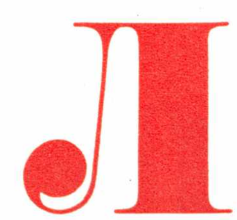
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 47 (2472)

16 НОЯБРЯ 1974.

Кубань. Битва за хлеб шла днем и ночью. Фото А. ГОСТЕВА.



Октябрьское поле подводит итоги — такова славная традиция советских людей. Минувшее лето не везде было благоприятным. И все же хлеба нынче собрали больше, чем во все предыдущие годы, за исключением 1973-го, наиболее урожайного. Не посрамили славы русского поля селяне Поволжья, Кубани, Ставрополья, Урала, центрально-черноземных и нечерноземных областей РСФСР. Сверхплановую продукцию дали стране земледельцы Белоруссии, прибалтийских республик.

Уходили с поля хлеборобы... Колонны запыленных самоходных комбайнов катили к селам...

Конец страде — отмолотились! Дома механизаторов ждали свежеиспеченные караваи, пироги, а на Украине еще и пампушки с чесноком к борщу.

А в октябрьском поле остались тишина, золотые скирды да крепнущие всходы урожая 1975 года — на тысячах и тысячах степных гектаров.

Помнит страна подвиг хлеборобов Кубани, продавших в третьем году пятилетки четверть миллиарда пудов хлеба. И вот в нынешнем году кубанцы вырастили еще больше зерна. Каждый гектар здесь, на благодатных, ухоженных полях дал на три центнера зерна больше. Закрома приняли хлеба столько, сколько никогда раньше в истории земледелия этого края. Кубань отныне славится не одной своей пшеницей, но и белоярым зерном риса. Рисоводы уже перешагнули рубеж урожая в шестьдесят и даже в семьдесят центнеров с гектара.

В канун октябрьских торжеств кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР товарищ М. С. Соломенцев прикрепил к знамени орденоносной Кубани второй орден Ленина.

«Два раза взяли, третьего не миновать» — так, очевидно, толковали в погожие дни сеяльщики украинской нивы. Речь идет о высоком обязательстве — продать государству миллиард пудов хлеба. Этот рубеж хлеборобы Украины впервые одолели в нынешней пятилетке. И в прошлом году и в этом они рапортовали Родине: есть миллиард!

Анализ, даже самый предварительный, показывает, что новый успех — это уже некая закономерность. Это результат последовательной работы и в поле, и на селе, и вообще по интенсификации сельского хозяйства. Стало больше машин, больше удобрений, с каждым годом сокращаются сроки полевых работ, растут заинтересованность и мастерство сельских механизаторов, шоферов, специалистов. Вот земля и отозвалась. Уместно тут напомнить, что не благие намерения подняли плодородие старопахотных полей страны, а решительные меры — организационные и материальные,— направленные на укрепление экономики хозяйств, осуществляемые на селе после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 16 миллиардов рублей — вот сколько вложено в развитие колхозов и совхозов только Украины за четыре года пятилетки. Это на шестнадцать процентов больше, чем за всю предыдущую восьмую пятилетку.

И еще показатель наиважнейший: поставки высокопроизводительной техники и широкое использование электрической энергии, в частности в мастерских и на механизированных токах, повысили энерговооруженность украинских хозяйств более чем в полтора раза!

Растут ли урожаи на Украине? Растут, хотя год на год не приходится. Еще недавно, в 1961—1965 годах, среднегодовой урожай по республике составлял чуть больше ста пудов, а в предыдущем пятилетии он перевалил уже за сто тридцать пудов. В среднем по Украине. Так вот, нынче с украинского гектара взяли в среднем намного больше ста пятидесяти пудов зерна. Шаг уверенный и значительный.

А Кубань? По расчетам ученых, здесь теперь реален урожай в двести пятьдесят пудов с каждого гектара...

Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины, член Политбюро ЦК КПСС товарищ В. В. Щербицкий писал в «Правде» в день рапорта украинских хлеборобов: «Валовая продукция сельского хозяйства в текущем году и в целом за четыре года ожидается в объеме, предусмотренном пятилетним планом».

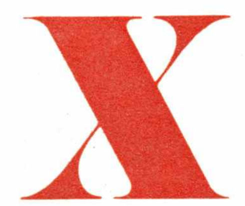
График сельской пятилетки соблюдается точно. И все это сила октябрьского поля.

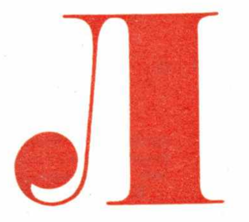
Н. БЫКОВ

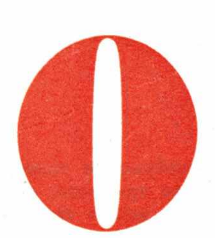
Горы рукотворные.

Вячеслав КОСТЫРЯ

Фото В. Сваричевского.







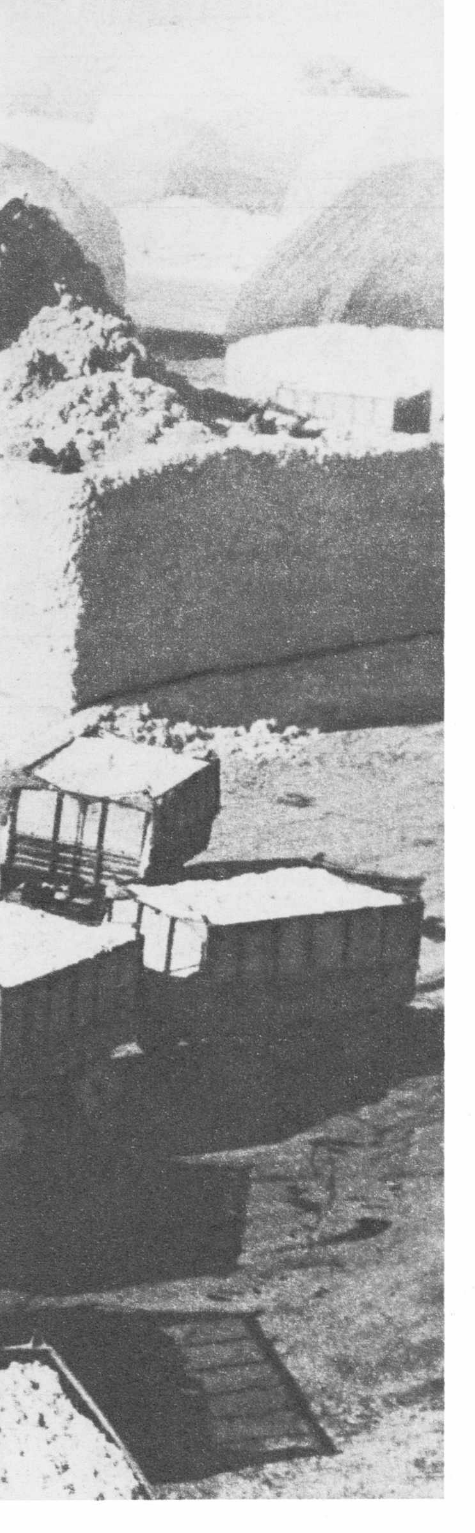
У советских хлопкоробов—праздник: с честью выполнены социалистические обязательства. Государство уже получило более 8 миллионов тонн хлопка-сырца. Такого сбора еще не знала история отечественного хлопководства. У тружеников полей Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана слово не разошлось с делом. Узбекские хлопкоробы продали государству 5,2 миллиона тонн хлопка. Второй год подряд хлопкоробы Туркменистана продают государству более 1 миллиона тонн хлопка. Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР сердечно поздравили трудящихся Узбекистана и Туркменистана с большой трудовой победой.

В небывало короткий срок завершилась в этом году белая страда Узбекистана: еще только начало ноября, а на государственном хирмане 5 миллионов 200 тысяч тонн хлопка-сырца! Превзойден годовой уровень производства хлопка, намеченный для республики Директивами XXIV съезда КПСС на конец девятой пятилетки. Перевыполнено социалистическое обязательство, взятое на себя хлопкоробами.

21 октября, накануне торжеств в честь 50-летия образования Узбекской ССР и Компартии Узбекистана, был выполнен народнохозяйственный план хлопкозаготовок — страна получила 4 миллиона 580 тысяч тонн узбекистанского «белого золота».

Выступая на юбилейном торжественном заседании в Ташкентском Дворце искусств, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ М. А. Суслов под продолжительные аплодисменты собравшихся сказал: «По «секрету» мне сообщили, что Узбекистан даст государству в этом году 5 миллионов 100 тысяч тонн хлопка. Творцы этих славных трудовых побед заслуживают самой высокой оценки и благодарности».

Через несколько дней Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев направил хлопкоробам Ташкентской обла-



стящей победой — государство получило 5 миллионов 200 тысяч тонн узбекистанского хлопка.

...Поля совхоза «Узбекистан» в Голодной степи. Передний край отшумевшей битвы за юбилейный урожай. Совхозу всего второй год. В январе 1973 года поселилась здесь в полевом вагончике Инобат Ахунова со своими соратниками.

— Не директором совхоза, а пока «директором земли»,— смеется Инобат.— Совхоз надо было еще создать... Земля в том году впервые в жизни увидела воду! Очень это интересно.

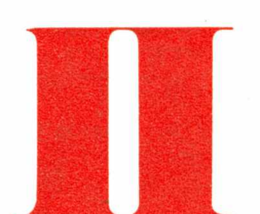
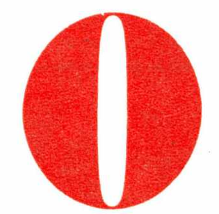
— И трудно?

— Разве это трудности? Вот когда я лет пятнадцать назад приехала по комсомольской путевке в совхоз имени Германа Титова, а меня директор к машине не подпускал, считал, что не женское это дело, вот тогда было трудно. Можно сказать, слезами целину поливала, но все же стала бригадиром комплексной бригады. Работали мы яростно. Подняли урожайность с девяти до тридцати пяти центнеров с гектара. За это, наверное, и доверили мне новый целинный совхоз, именуемый «Узбекистаном»! Плановая урожайность — девять центнеров. Это ведь со стыда пропадешь, если даже выполнишь план...

— А знатный механизатор Турсуной Ахунова не родня вам?

— Старшая сестра! Куда теперь денешься — фамилия обязывает... В первый же год дали по двадцать два центнера на девятистах гектарах. А в нынешнем, юбилейном площадь под хлопчатником расширилась — почти до пяти тысяч гектаров... Семь тысяч тонн вместо четырех тысяч семисот плановых — вот наш вклад в республиканские миллионы. А ведь это только второй сезон. Будет у нас и по сорок — пятьдесят центнеров с гектара! Нынче в республике средняя урожайность хлопчатника поднялась до тридцати центнеров. Десятки колхозов достигли сорока, а сотни хлопкоробов вышли на пятидесятицентнеровый рубеж. Это и наш завтрашний день,— заключила свой рассказ депутат Верховного Совета СССР Инобат Ахунова.

Директор совхоза «Узбекистан» Инобат Ахунова.

П О К

сти, первыми выполнившим свои социалистические обязательства, поздравление с большой трудовой победой.

В докладе на юбилейном торжественном заседании в Ташкентском Дворце искусств кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов сказал: «В республике выросла многочисленная армия механизаторов, являющихся теперь основной движущей силой в сельском хозяйстве. Штурмуя хлопковые поля днем и ночью, они проявляют подлинный героизм, добиваются небывало высокой производительности труда». А вскоре страна узнала: «штурм» хлопковых полей завершился бле-

Обязательства выполнены!

Перед началом переговоров. Фото А. Гостева.

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ НАРОДНОЙ

О многогранной жизни нашей страны, о советском человеке — созидателе, герое, творце — рассказывают произведения членов Академии художеств СССР, представленные в Центральном выставочном зале в Москве. Эта экспозиция посвящена 25-летию преобразования Всероссийской академии в Академию художеств СССР.

Свыше восьмисот тысяч зрителей уже побывали на выставке, экспонировавшейся в Москве и Ленинграде. Этот успех определен глубоким жизненным содержанием и высоким художественным уровнем показанных работ.

Юбилейная выставка дает представление о многообразной деятельности Академии художеств СССР. Произведения художников отразили выдающиеся события в истории нашей Родины, пафос революции, ратный подвиг советских людей. Их творчество вдохновлялось и вдохновляется современной жизнью народа, трудовыми свершениями. Полотна, графические листы, скульптуры раскрывают высокий моральный облик советского человека, его богатый духовный мир, красоту природы нашей Родины.

Представленные работы убедительно свидетельствуют о высоком мастерстве их создателей, многообразии художественных школ и творческих почерков, о многонациональном характере советского изобразительного искусства, верного ленинским принципам партийности и народности.

11 ноября выставку посетили товарищи В. В. Гришин, А. П. Кириленко, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, П. Н. Демичев, Б. Н. Пономарев, М. С. Соломенцев, В. И. Долгих.

Руководителей партии и правительства с экспозицией ознакомили президент Академии художеств СССР, Герой Социалистического Труда Н. В. Томский и вице-президент академии В. С. Кеменов.

В заключение осмотра состоялась теплая беседа руководителей партии и правительства с членами академии — авторами представленных на выставке работ.

Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ М. А. Суслов дал высокую оценку экспозиции. Он подчеркнул, что произведения академиков имеют огромную воспитательную силу, воодушевляют и одухотворяют человека, рождают чувство прекрасного, дают эстетическое наслаждение. Этому могучему искусству, сказал товарищ М. А. Суслов, принадлежит настоящее, ему принадлежит и будущее.

Руководители партии и правительства пожелали художникам новых больших успехов в их творчестве.

Во время осмотра выставки. Фото В. Мусаэльяна (ТАСС).

СОТРУДНИЧЕСТВО КРЕПНЕТ

По приглашению Советского правительства в Москву 11 ноября с официальным визитом прибыла Премьер-Министр, министр обороны и иностранных дел Республики Шри Ланка Сиримаво Р. Д. Бандаранаике.

На Внуковском аэродроме, украшенном государственными флагами Республики Шри Ланка и Советского Союза, Премьер-Министра встречали Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, заместитель Председателя Совета Министров СССР И. В. Архипов и другие официальные лица.

11 ноября в Кремле начались переговоры между членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, членом Политбюро ЦК КПСС, министром иностранных дел СССР А. А. Громыко и Премьер-Министром Республики Шри Ланка Сиримаво Р. Д. Бандаранаике.

Во время переговоров, проходивших в обстановке дружбы и взаимопонимания, были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности в экономической области.

Стороны с удовлетворением отметили, что между двумя странами развивается равноправное и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях отношений. Они обратили внимание на возможности дальнейшего расширения двусторонних связей.

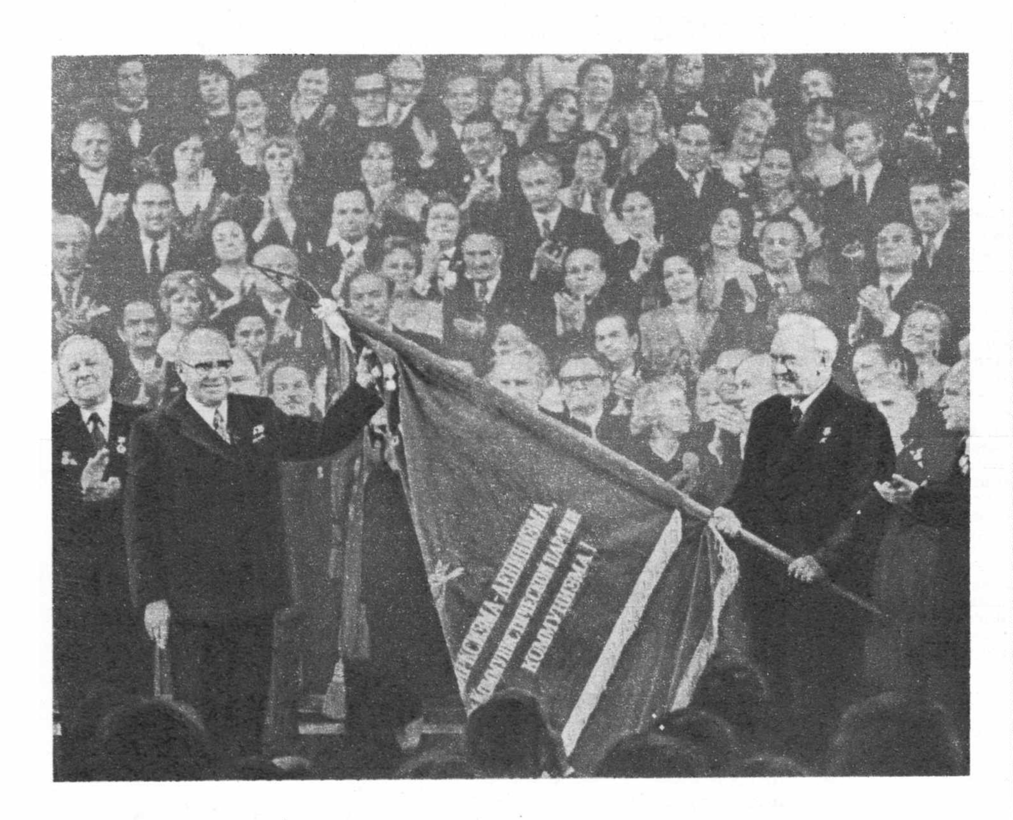
В тот же день Советское правительство дало в Большом Кремлевском дворце обед в честь Премьер-Министра, министра обороны и иностранных дел Республики Шри Ланка Сиримаво Р. Д. Бандаранаике.

Вместе с высокой гостьей были сопровождающие ее государственные деятели, а также министр рыболовства Дж. Раджапаксе, посол Республики Шри Ланка в Советском Союзе К. Э. С. Виратунге.

С советской стороны были Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, заместители Председателя Совета Министров СССР И. В. Архипов, В. Э. Дымшиц, М. А. Лесечко, И. Т. Новиков, З. Н. Нуриев, Л. В. Смирнов, министры СССР, другие официальные лица.

К гостям с речью обратился А. Н. Косыгин.

С ответной речью выступила Сиримаво Р. Д. Бандаранаике.



Выдающимся событием в культурной жизни страны стало 150-летие Малого театра, который по праву называют театром великих традиций русского сценического искусства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Малый театр награжден орденом Октябрьской Революции.

Вручая почетную награду, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный сказал: «Малый театр всегда оставался на уровне требований времени, осуществлял на деле свою благородную миссию — быть проводником новых идей, борцом за социализм, активно воплощать на сцене принципы социалистического реализма. Неразрывными узами он всегда был связан с народом, делил с ним радости и испытания на его героическом пути».

Фото А. Канашевича.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Центральное телевидение показало новый телевизионный документальный фильм «Наш друг ГДР» — о праздновании 25-й годовщины образования Германской Демократической Республики[1].

Фильм открывается кадрами, показывающими праздничное убранство вечернего Берлина — столицы ГДР,— иллюминация на улицах города, знаменитые часы мира на Александер-платц — и всюду цифра «25».

Фильм увлекает широтой показа праздничной атмосферы в республике — мы видим, как украшают улицы городов, цехи предприятий и залы магазинов, как в Росток прибывают гости — советские моряки-балтийцы, как вокзал Франкфурта-на-Одере принимает поезд дружбы с металлургами Липецка, видим дружное шествие членов Союза свободной немецкой молодежи, скандирующей: «Дружба — Фройндшафт!»

Юноши и девушки проходят по берлинской Александер-платц, где 25 лет назад Эрих Хонеккер, тогда руководитель Свободной немецкой молодежи, от лица новой, юной Германии клялся в верности идеалам немецкого рабочего движения, учению Маркса — Ленина, заветам пролетариата. Это обещание выполнено. Немецкое социалистическое государство существует и процветает в дружной семье народов стран социализма.

По-братски тепло и сердечно встретили трудящиеся ГДР прибывшего к ним на празднование Л. И. Брежнева. Эпизоды, связанные с пребыванием на юбилейных торжествах партийно-правительственной делегации Советского Союза во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, одни из самых выразительных в этой документальной ленте. В нашей памяти еще живы впечатления от прямых телепередач из Берлина — столицы ГДР — о прибытии советской делегации. И кадры телевизионного фильма с новой силой воскрешают волнующую обстановку праздника. Мы вновь стали свидетелями проявления чувств братской любви и высокого уважения, которые питают трудящиеся ГДР к посланцам нашей партии и народа и лично к товарищу Леониду Ильичу Брежневу.

В речи, получившей отклик во всем мире, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев сказал, что мы отмечаем «дату, полную глубочайшего исторического смысла». Юбилей «стал нашим общим праздником, праздником всех, кто бился насмерть с фашизмом, отстаивал мир, боролся и борется за торжество идеалов демократии и социализма».

Празднование 25-летия ГДР вылилось в торжество идей социализма и мира, братской дружбы между народами. Фильм «Наш друг ГДР» убедительно и живо поведал нам об этом.

[1] «Наш друг ГДР». Авторы сценария А. Каверзнев, А. Жолквер, режиссер О. Малинин, операторы Л. Придорогин, В. Марченков.

Анатолий САЛУЦКИЙ

Иван Папанин

Иван Дмитриевич Папанин. Фото Г. Копосова.

Иван Дмитриевич Папанин начал получать письма от незнакомых людей еще в те дни, когда вместе с Кренкелем, Федоровым и Ширшовым дрейфовал на льдине по Северному Ледовитому океану. Со временем количество писем достигло десятков тысяч. С различными вариациями, они похожи друг на друга. Но одно выглядит странным. Впрочем, содержание письма вполне обычно:

«Дорогой Иван Дмитриевич! Вас, замечательного сына нашей страны, ученого и героя, мы знаем и любим, как все советские люди. Мы избрали вас почетным членом клуба «Дружба народов СССР», что открыт у нас в колхозе. У нас есть Музей Славы, в котором просим вас быть представленным, и пришлите, пожалуйста, фото. А главное — самая большая наша просьба: приезжайте к нам в гости, на встречу с колхозниками. Все расходы берем на себя. Доехать до нас легко и просто. Дайте телеграмму, и мы вас встретим. Наш колхоз от Чебоксар всего в 25 км. Ох, как хотим вас видеть. Ваш приезд был бы настоящим праздником для Чувашии».

Словом, обычное письмо из почты знаменитого человека. Удивительной была дата его написания: 8 сентября 1974 года.

Сейчас такие письма приходят к советским космонавтам. Но Папанин? Человек, чья эпоха по научно-техническим меркам отличается от гагаринской, как времена пара от века электроники? Да, его фамилия — в энциклопедиях, на географических картах. Но откуда такой жадный интерес наших современников, уже привыкающих к сообщениям из космоса и бегло скользящих взглядом по нонпарельным заметкам о новых полярных станциях?

Слов нет, видимо, сыграли свою роль особый колорит, незаурядные личные качества этого человека. Но главное в том, что героизм папанинцев стал олицетворением героических тридцатых годов вообще, яростного энтузиазма первостроителей Комсомольска, стратонавтов, летчиков, полярников. Сейчас иные времена, знаменитый летный гимн «Пропеллер, громче песню пой» неуместен «на тропинках далеких планет». Но, к счастью, всемогущий научно-технический прогресс с его невеселым свойством безжалостно хоронить предыдущие изобретения и достижения оказался невластен над извечной потребностью человека восхищаться силой духа себе подобных. Пионеры прошлого остаются почетными гражданами настоящего. Ценность их поступков определяется не только подсчетом благ, добытых для потомков, но прежде всего вдохновляющим героическим примером.

Впрочем, не следует забывать и про блага.

В то время, когда весь мир рукоплескал папанинцам, Мартин Андерсен-Нексе так выразил суть отношения человечества к происшедшему: «В истории изучения Арктики будет отмечено, что исследование ее началось с того момента, когда эту работу взял на себя Советский Союз». Этими простыми словами сын датского каменотеса как бы вырубил вечный памятник советским полярникам от благодарного мира.

История штурма Северного полюса хорошо известна. На ее страницах встречаются выдающиеся имена, примеры беспредельного мужества и фанатичного безумства. Но все это, вместе взятое, за редким исключением, имело привкус спорта, соревнования великих честолюбий и национальных престижей. Даже тщеславный упрямец американец Пири, добравшийся до полюса, и суровый романтик итальянец Нобиле при всем их стремлении послужить человечеству жаждали главным образом выиграть гонку к полюсу. Пожалуй, лишь мужественные северяне Нансен, Амундсен и Седов прежде всего исходили из искреннего желания освоить Арктику, поскольку этого требовали непосредственные интересы их стран.

Что касается Георгия Седова, то убеждения старшего лейтенанта русского флота не разделялись царским правительством. Но минули годы, и полярников стала собирать в Арктику вся страна — дрейф на льдине стал частью освоения Арктики. И одним из веских доказательств комплексности предпринятых исследований было то, что Чкалов пролетел в Америку над полярной станцией. Полярники слышали шум моторов его самолета. Экипаж Чкалова пользовался сведениями о погоде, переданными с полюса. Возможно, эта единовременность потрясших мир событий и помогла Андерсену-Нексе ощутить истинный советский замах, и он назвал происходившее будничным, но сильным и емким словом «работа».

Параметры дрейфа примечательны: 2 500 километров без руля и без ветрил, 274 дня на льдине, тысячи научных наблюдений. Не случайно во время первого посещения Москвы Тур Хейердал сразу же попросил познакомить его с Папаниным — стремился выразить ему свое восхищение. Капитан «Кон-Тики» лучше многих понимал, как тесно переплелись в эпопее дрейфа человеческое мужество и научные цели эксперимента.

О самом дрейфе написано немало. К тому же в данном случае речь идет не о самой экспедиции, но об Иване Дмитриевиче Папанине, которому исполняется 80 лет. И в этой связи немаловажно ответить на вопрос: почему именно Папанин возглавил дрейф?

Действительно, не будь Иван Дмитриевич полярником, экспедиция все равно состоялась бы, поскольку была подготовлена самим ходом развития советской науки, всей нашей страны. И все же выбор пал на Ивана Дмитриевича вполне закономерно. Более того, тем, кто лично знает Папанина, трудно избавиться от впечатления, что, не возглавь он экспедицию, ее общечеловеческий резонанс утерял бы какую-то малую, но весьма существенную толику своего звучания в душах людей. Папанин оказался именно тем человеком, какие нужны для особо важных первопроходческих деяний. Он был нужен на полюсе не только для решения бесчисленных «оргзадач» — с ними справились бы многие, но и как личность, не подавляющая своим недосягаемым величием, а обаятельная, приветливая, наделенная истинно народными чертами, доступная пониманию каждого.

Папанин относится к разряду тех, кто на любом поприще может ярко проявить себя. Он, если хотите, «профессиональный герой», весь склад его характера, темперамент, сама могучая — в прямом и переносном смысле — натура оказались в высшей степени созвучны укладу нового, социалистического общества и неизбежно должны были привести этого человека к незаурядным свершениям. Ведь, если вдуматься, ему не повезло: он укоренился в памяти миллионов исключительно как герой Северного полюса. А между тем Папанин-полярник — лишь часть истинного Папанина, героя гражданской войны, блестящего организатора советской науки.

Он родился в Аполлоновой балке Севастополя, где селились рыбаки, старые солдаты и матросы — герои обороны, доживавшие век на священной для них земле близ Малахова кургана. С детства он бегал на Северный рейд, где стояли неуклюжие броненосцы «Чесма», «Синоп». Корытообразные, угрюмые, они вызывали усмешки сидевших на берегу с удочками ветеранов. «Лоханки,— слышалось вокруг.— То ли дело «Мария», «Три святителя»! Красота! Снасти — веревочка к веревочке, матросы — черти, а не люди». На Малаховом кургане эти же старики, забытые богом и царем, целовали землю у выложенного чугунными ядрами креста — места гибели вице-адмирала Корнилова и рассказывали о былом. Мальчишка слушал их с особым чувством: его дед погиб на Малаховом кургане.

Отец тоже сначала был военным моряком. Потом биржевым сторожем, а позже баржевым матросом. Этот послужной список исчерпывающе свидетельствует о детстве Папанина. Сам Иван Дмитриевич тоже начал жизнь службой на флоте. И когда командующий Черноморским флотом на неделю задержал телеграмму о февральском перевороте, находился в разъяренной десятитысячной толпе матросов, кричавших: «Подать Колчака!» Адмирал вынужден был приехать на Корабельную сторону. Среди круто говоривших с ним был и Папанин. Так началась его революционная биография.

Он был из тех крест-накрест обвязанных пулеметными лентами «братков», чьи образы так великолепно отобразил Всеволод Вишневский. А писал Вишневский во многом с Папанина, который был тоже комиссаром, как Фурманов у Чапаева. Но это позже. А тогда, в 1918-м, Папанин лихо врывался в освобожденные матросским отрядом города на автомобиле. Потом он стал начальником головных мастерских Заднепровской бригады бронепоездов, но сам обожал становиться к машинным регуляторам. В 1920-м он уже служит в Николаеве комиссаром оперативного управления штаба морских сил Юго-Западного фронта.

...В 1948 году один из участников дрейфа, П. П. Ширшов, организатор Института океанологии, попросил Ивана Дмитриевича помочь ему в налаживании экспедиционной работы. Папанин согласился и принял активное участие в создании знаменитого «Витязя» — первенца советского исследовательского флота. Судьба вторично связала Папанина с кораблем, носившим это название. Совпадение символическое!..

Первый «Витязь» был найден Папаниным под Новороссийском.

Ободранный, старый катер едва держался на плаву, но Иван Дмитриевич перебрал его мотор, чтобы добраться к берегам занятого Врангелем Крыма. Там сражались партизанские отряды, надо было объединить их в Повстанческую армию под руководством А. В. Мокроусова. А для этого необходимо забросить в Крым группу опытных и преданных революции командиров. «Витязю» приделали фальшивую трубу; силуэтом он издали стал походить на миноносец — маскарад типично в папанинском стиле. Когда катер ткнулся носом в крымское побережье у Судака, Папанин первым спрыгнул в воду. Вторым десантировался комиссар Всеволод Вишневский.

Повстанческая армия славно громила тылы Врангеля. В какой-то момент потребовалось получить подкрепление, оружие, боеприпасы. Между тем через Перекоп не могла пролететь незамеченной даже муха. И Папанин осуществляет нечто такое, что скорее похоже на сюжет из детективного романа, нежели на реальную жизнь.

В те сложные, полные сумятицы годы на Черном море вспыхнула эпидемия пиратства и контрабандизма. Словно на короткий исторический миг вернулись времена средневековых флибустьеров: вооруженные шхуны нападали на рыбаков, грабили прибрежные села. Контрабандисты и береговая охрана состояли в тайном преступном сговоре. Папанин решил воспользоваться ситуацией. За тысячу николаевских рублей какой-то шкипер-контрабандист взялся доставить его в Трапезунд. Он шутил, что приготовил редиску наоборот: красного командира зашил в белый мучной куль. В Арктике, засыпанный снегом и покрытый изморозью, Папанин не был таким белым, каким появился на палубе шхуны, когда она вышла в море. Но тут матроса подстерегала новая опасность — его решили ограбить и выбросить за борт. Папанина спасла выдержка.

Еще в юности, когда он пришел работать в компасную мастерскую, над новичком подшутили. «Подай-ка вон те заклепки»,— сказал кто-то. Папанин схватил горсть и подал просившему. Тот отшатнулся: заклепки только что вынули из горна, они еще светились, а этот парень не подает вида, что у него сожжена ладонь. И на пиратской шхуне Папанину также не изменила выдержка: сутки он не смыкал глаз, держа палец на курке,— его побоялись тронуть. Зато доставили не в Трапезунд, а в Синоп: встречные контрабандисты сообщили, что мука в Синопе дороже. На берегу Папанин порвал на себе одежду и «переквалифицировался» в дервиша. Две недели он брел по Турции, разыгрывая не только нищего, но и глухонемого. В таком виде он и предстал в Трапезунде перед советским консулом.

Но прежде чем явиться с докладом к М. В. Фрунзе, который вызвал Папанина, Иван Дмитриевич побывал еще в одной переделке: путь к Новороссийску перекрыли белые. Капитан судна, на котором его отправили, растерялся, команду охватила паника. Папанин выхватил маузер. Его могучее «Братки! По местам стоять!» привело всех в чувство, они улизнули от врага. А потом с мандатом Фрунзе Папанин высадил в Крыму второй десант. Но это уже новая история, не менее героическая. Орден боевого Красного Знамени, высшая награда тех лет, украсил грудь будущего героя-полярника еще в годы гражданской войны.

Контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза, Иван Дмитриевич Папанин навсегда остался тем революционным матросом, каким был в юности. Никогда не изменяли ему природная находчивость и общительный, веселый характер, редкое умение решать самые трудные проблемы, не принимая трагической позы, а лихо, смело, решительно.

Поддерживая своими бронепоездами Щорса, он говорил:

— Вижу — пулемет. Бух туда трехдюймового поросенка — глядишь, вмиг отбивное-заливное.

Когда льдина с полярниками дала трещину, начальник станции не произносил душеспасительных речей. «Братки! — говорил он.— К трещинам не подходить. Если кто-нибудь из вас утонет, считайте, что погибло два человека: я тоже утоплюсь»,— и это опять типично по-папанински.

Отто Юльевич Шмидт говорил: «Я имею в виду не только его многолетний опыт... но и прежде всего исключительную жизнерадостность и напористость, с которыми товарищ Папанин легко побеждает трудности. Такой человек не растеряется в трудную минуту. Его спутники получат зарядку бодрости и уверенности в успехе».

На полюсе Папанин обосновался прочно, по-хозяйски. Он взял с собой тысячи предметов, причем не все из них входили в перечень традиционного полярного снаряжения. Даже гербовую печать захватил с собой. «Моя канцелярия должна работать по форме»,— говорил он, штемпелюя письма.

Как все это похоже на вызвавшее восторг человечества «Поехали!», которое произнес Юрий Гагарин за секунды до старта в космос! Безусловно, есть что-то общее в характерах этих выдающихся людей, перед каждым из которых был расстелен красный ковер, когда, выполнив задание Родины, они возвращались в Москву.

Кстати, судьба свела Папанина и Гагарина теснее, чем может показаться. Ступив на борт второго «Витязя», Иван Дмитриевич начал организацию академического экспедиционного флота. Через три года, когда необходимость в далеких плаваниях стали испытывать другие институты, Президиум АН СССР создал специальный отдел морских экспедиционных работ. Папанин стал его организатором и возглавляет по сей день.

Да, он начал с «Витязя». Потом появились «Михаил Ломоносов», «Сергей Вавилов», «Петр Лебедев». Но все это были суда, созданные на базе транспортных. А исследования Мирового океана расширялись. И Папанин выдвигает проект постройки целой серии специальных кораблей для комплексных исследований. Трудно было свести воедино все требования биологов, гидрологов, запросы множества институтов. Но эта гигантская координационная работа была проведена четко. Вскоре Папанин уже начал регулярно выезжать на Висмарскую верфь ГДР, где строились исследовательские суда по советскому заказу.

А потом научный флот советской Академии наук пополнился новой эскадрой кораблей — десять судов начали заниматься изучением верхних слоев атмосферы и космического пространства. Флагманом этого отряда стал «Космонавт Юрий Гагарин», построенный в Ленинграде. Папанин был среди тех, кто поднимал флаг на этом судне. Знаменитый полярник, он продолжал активно работать и вполне логично оказался непосредственно связанным с космическими исследованиями. Он постарел, но не устарел.

В 1931 году немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» готовился к полету в Арктику. В то время уже начинало зарождаться международное сотрудничество ученых, и советские полярники намеревались послать специальную группу на Землю Франца-Иосифа, чтобы принять почту с дирижабля. Узнав об этом, Папанин добился разрешения быть в составе этой группы. Так состоялось его первое знакомство с Арктикой.

На следующий год он отправился туда уже начальником полярной обсерватории — снова на Землю Франца-Иосифа, в бухту Тихую. Почти за двадцать лет до этого отсюда ушел пешком к полюсу Седов. Зная, что именно здесь участники его экспедиции заболели цингой, Папанин особое внимание уделял питанию полярников: повар Алеша трудился под его наблюдением. И вдруг с Большой земли пришла телеграмма от Алешиной жены, извещавшей, что она будет устраивать свою жизнь без него. Начальник обсерватории почесал в затылке: он отлично знал, как такое известие отразится на желудках подчиненных.

Подумав недолго, Папанин решил кое-что подправить в полученной телеграмме. После быстрой редактуры ее текст приобрел несколько иной вид: «Жду люблю целую». По такому случаю Алеша закатил роскошный обед и немедленно отправил ответную телеграмму с выражением своих чувств. Но, как и следовало ожидать, вскоре радист принес Папанину вторую «весточку» с Большой земли. Ее содержание сводилось примерно к следующему: «Ты что, совсем спятил на своей зимовке? Я ж тебе писала...» И далее в первоначальном духе. Иван Дмитриевич снова взялся за карандаш, и Алеша прочитал нечто такое, что заставило его превзойти самого себя в кулинарном искусстве.

Так продолжалось всю полярную ночь. Но самым неожиданным был финал этой эпистолярной подделки: когда полярники вернулись в Ленинград, Алешина жена с такой страстью бросилась на шею мужу, что его друзьям оставалось только завидовать.

До сих пор Иван Дмитриевич считает, что это был единственный случай в его жизни, когда, взявшись за дело, он не знал, каким будет его исход. Во всем остальном этот человек всегда не просто верил в успех, а даже не сомневался, не рассматривал саму мысль о неудаче. Возможно, поэтому его непревзойденный оптимизм столь волшебно действовал на окружающих.

Со времени зимовки в бухте Тихой Папанин стал каждый год выезжать в Арктику. Черноморский моряк чувствовал себя здесь, как в родной стихии. Где бы он ни появлялся — на Земле Франца-Иосифа или на мысе Челюскина, повсюду организованные им полярные станции были образцовыми. Именно это и позволило О. Ю. Шмидту говорить о большом опыте Папанина-полярника.

«Папанин — человек, который в особой, обостренной степени обладает чувством цели»,— было написано об Иване Дмитриевиче в одной из характеристик. В этой связи примечательна история биологической станции «Борок» на Рыбинском море, которую Ивану Дмитриевичу предложили по совместительству возглавить в 1952 году.

В то время ее штат составлял семь человек. Благодаря неимоверным усилиям Папанина (кстати, двадцать лет он был там директором безвозмездно, по существу, на общественных началах, основной его работой оставалась многообразная деятельность начальника отдела экспедиционных работ) эта станция превратилась в крупный институт, где теперь проводятся даже международные симпозиумы.

...Скоро сорок лет незабываемого полярного дрейфа. Ивану Дмитриевичу восемьдесят лет. Но позвонишь ему по телефону и, как всегда, слышишь знакомое:

— Браток...

Таким человеком нельзя не восхищаться. Его нельзя не любить.

Легендарная четверка: Э. Кренкель, И. Папанин, Е. Федоров, П. Ширшов.

ПОЭМА О ВЗМОРЬЕ

Ольга **НЕМИРОВСКАЯ**

В середине октября в Риге деревья еще стояли в ярком осеннем великолепии. Вековые липы, дубы и клены прочно держали разноцветную листву, непривычно для этого времени зеленела трава. Часто выпадали погожие дни, и в полдень солнце щедро заливало город. Розовые, желтые ковры устилали бульвары. Осень словно нарочно замедлила бег, чтобы праздник, который отмечала Латвия,— тридцатилетие освобождения своей столицы от фашистских захватчиков — стал особенно красивым и запоминающимся.

А неделю спустя народный художник Латвии, академик Эдуард Фридрихович Калныньш отметил свое семидесятилетие. Рядом с этим человеком — энергичным, стройным, быстрым в движениях, каким-то очень молодым в восприятии жизни — солидная цифра теряла свой обычный смысл.

...Свинцовая, темно-блестящая от дождя лента шоссе ведет в Саулкрасты — Солнечный берег, небольшой поселок к северу от Риги. Сюда Калныньш ездит на этюды многие годы.

Сыпал дождь, но облака держались высоко, и было удивительно ясно. Несмотря на сырость, рассеянную в воздухе, пригороды выглядели привлекательно от багряных, лимонных, терракотовых оттенков листвы и сочной зелени хвои. Латыши любят краски осени, они часто повторяются в одежде женщин, звучат в узорах тканей, гобеленов, изделиях народных промыслов.

Мы проезжали мост через Гаую, не раз воспетую в стихах латышских поэтов. Окрестности были так хороши и живописны, что, казалось, нельзя удержаться, чтобы не написать их. И, словно подслушав мои мысли, Эдуард Фридрихович сказал:

— Не люблю яркость. Все, что я написал, связано с морем, это часть моей души, моей жизни...

Мир Калныньша — небо Балтики, воды Балтики, туманы и рассветы, закаты, штормы, жизнь берега. Будни рыболовецких колхозов, оживленная суета портов, белые крылья парусов и яхты, скользящие по заливу, рыбацкие поселки на краю зыбких песчаных дюн. Моросящие дождем ветры, молочные дни, окутывающие дали матовым покровом, и особое серебристое мерцание воздуха.

Много лет наблюдает художник море, стараясь уловить и постичь своеобразие каждого часа, каждого нового состояния природы, чтобы передать на полотне то, что чувствует и любит в своей родной Прибалтике.

Почти полвека назад он начал писать взморье. Это вышло почти случайно, он был тогда с друзьями-художниками на этюдах в Каугури. С тех пор живая и переменчивая стихия — то ласковая и добрая, то капризная, неугомонная, свирепая — навсегда вошла в его творчество. Вставал с зарею: день у рыбаков начинался в четыре утра,— и писал, пока они готовились выйти в море. Молодой живописец не мог отвести глаз от восходящего солнца, еще скрытого стелющимся туманом; пробираясь сквозь него, солнечные лучи теряли свою резкость, становились ласковыми, озаряя воду розовато-жемчужным свечением.

Возвращаясь с уловом, рыбаки опять встречали на берегу высокого худощавого юношу. Они уже перестали удивляться тому, что он, словно не найдя ничего более интересного, рисует их обычную жизнь. Вот и сейчас, примостившись на складном стуле, быстро делает наброски, пишет, как в сопровождении радостных, снующих тут же ребятишек люди тяжело расходятся по домам, оставляя лодки отдыхать на белом сухом песке.

Пройдет какое-то время, и все эти многолетние впечатления трансформируются и сольются в образ предвечернего взморья, который он воплотит в одной из лучших своих картин. «На закате» — это почти опустевший после трудового дня берег, лишь одинокие фигурки хлопочут у лодок; рядом с ними, как всегда, дети. Но будет в этом полотне и сложная световая тональность сумерек, и золотисто-сиреневые тени, и потемневшая поверхность моря. А над ним на синем перламутровом небе белые подсвеченные облака. И будет разноцветная вода в речушке, белые пятна свернутых парусов и светлеющий вдали поселок... Рыбацкое взморье, как оно есть, как существует в мире, называемом Балтикой.

Однажды после удачного лова один из рыбаков, его звали Вавере, с которым уже подружился художник, зашел к нему и со словами: «Это тебе!» — выплеснул прямо на деревянный пол свежую, еще живую рыбу — целый фартук. Калныньш так и написал ее — красивую, крупную, блестящую. И до сих пор очень любит этот натюрморт.

Ни живописец, ни тем более пожилой рыбак не предполагали, что Вавере станет одним из героев большого полотна «После рыбной ловли», написанного спустя многие годы.

Часто приезжал Калныньш в Скулте и почти не расставался с этюдником. Он искал, находил, разочаровывался, делал десятки вариантов, размышляя над тем, как передать легкость высокой облачной пелены, сливающейся с водой у близкого окоема, розовую влажность песка, желтые, мутные после бури волны, золотые закаты и сотканную из испарений дымку, кажущуюся драгоценной в лучах солнца.

Есть удивительная тонкость, даже изысканность в освещении, во всем колорите балтийского дня. Тот серебристый оттенок, который не давал покоя художнику восемь лет, пока он не увидел его на картинах Веласкеса. Это было в Италии, после того, как в 1935 году он получил Римскую премию за картину «Плотовщики».

Калныньш ехал в Италию, надеясь изучить технику старых мастеров. Но, увидев знаменитые шедевры, понял, что не в приемах дело. Глубокая искренность, необходимость высказать свое понимание мира — вот что водило кистью гениальных художников, умевших подчинить свои живописные открытия идее, владевшей их помыслами.

Во множестве выполненных там этюдов — точных и свежих по наблюдению — нежное дыхание венецианской лагуны, быстрая флорентийская река Арно, лазоревые воды Адриатики, насыщенные краски италийского побережья. Все, что он видел, было пленительно. Но именно тогда Калныньш отчетливо понял, что работать по-настоящему, сочинять и создавать картины, быть художником он может лишь в отчих краях, с их строгим, поющим колоритом, с той деликатной приглушенностью цвета, которую он любит и ищет в природе. Он чувствовал себя, как те самые жаворонки из стихов Яна Судрабкална: спасаясь в жарких странах от холода, каждой весной они возвращаются на родину и только тут выводят птенцов.

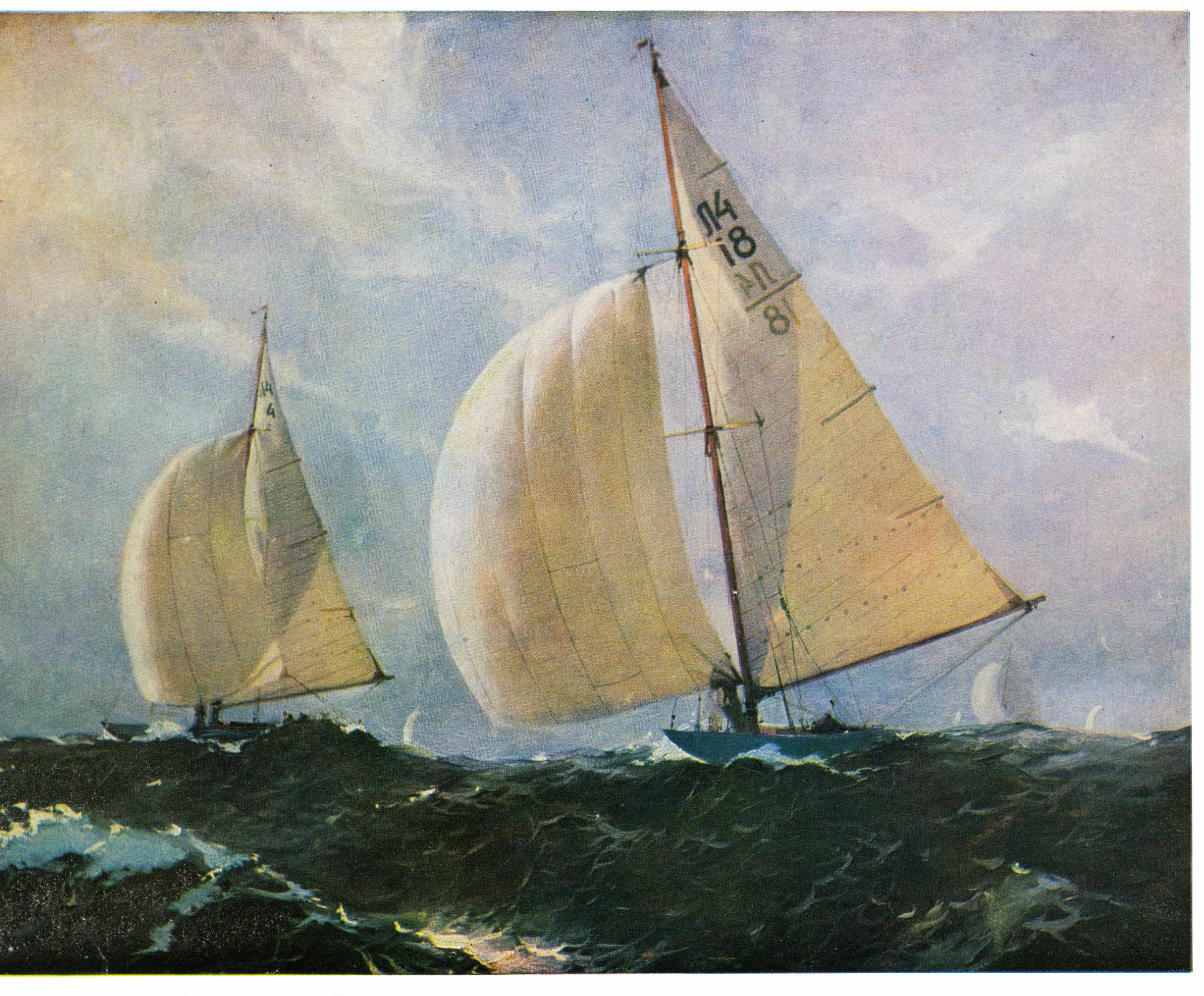
Не сразу открывалось художнику море. Решив узнать его характер, он вместе с приятелем купил старую лодку, сшил паруса и стал выходить в плавания. А после войны уже в сорок с лишним лет мастер серьезно увлекся яхтой, получил капитанские права. В те годы появились картины «Круто к ветру», «VII Балтийская регата».

Однажды во время шторма яхту сильно накренило, обрушилась крутая волна. И сквозь эту вспененную воду он увидел солнце. Увидел его таким, что, пережив однажды это ощущение, снова и снова вспоминал, стараясь перенести на холст. Выраженное по-разному, оно живет во многих его картинах, присутствует отчасти и в «Шторме в Балтийском море» — произведении, которое было отмечено Золотой медалью Академии художеств СССР.

В нынешнем октябре звезды низко опустились над Ригой. Кажется, их можно достать рукой, на счастье. Вся улица Ленина в этих синеватых остроконечных звездах иллюминации. Небо приблизилось к людям, чтобы вместе с ними торжественно отметить тридцатилетие возрождения социалистической республики.

Три десятилетия назад начался новый, самый плодотворный этап в творчестве Эдуарда Калныньша. Серьезной удачей на этом пути стала картина с названием, прозвучавшим тогда, в 1945 году, почти символически: «Новые паруса». Необычно красочен для этого живописца колорит произведения, весь его мажорный, звонкий строй. Белоснежно чисты ткани, из которых шьют паруса, сидя на берегу, трое крепких, загорелых рыбаков. Празднично ярки их рубахи, а на обветренных лицах — радость.

Э. Калныньш. В ПОРТУ.



Э. Калныньш. VII БАЛТИЙСКАЯ РЕГАТА.

Государственная Третьяковская галерея.

Свое пятидесятилетие Калныньш встретил в Атлантике, за Полярным кругом. Ему совершенно необходимо было почувствовать дыхание океана, чтобы лучше понять себя, свои поиски в живописи. Вместо того, чтобы принимать поздравления и чествования, осенью 1954 года признанный мастер, профессор Латвийской Академии художеств, ушел с рыбаками в Атлантику, сначала на плавучей базе «Титаник», курсировавшей неподалеку от острова Ян-Майен и обслуживающей небольшие промысловые суда. А через два месяца попросил перевести на СРТ — средний рыболовецкий траулер.

Соглашаясь его взять, капитан сказал:

— Кошки у нас были, собаки тоже, даже медведь.— И, вздохнув, добавил:— Правда, безобразничал очень, пришлось списать. Вот художника еще не было. Ну что ж, попробуем...

Четверо суток Калныньш привыкал к океану. Болтало так, что не знал, где через минуту окажется голова, где ноги. Потом, чтобы писать, начал привязываться. Не выпускал кисти из рук и в шквальные ветры и в холодное, морозное ненастье. На тонкой фанере величиной со школьную тетрадь делал маслом этюды. Мыс Нордкап, самый северный на европейском материке, вулкан Ян-Майен и ледник, сползающий с острова в море. Небо, подернутое розовато-свинцовыми тучами, розовые рефлексы на воде, на палубе, на всем, что можно увидеть. Насыщенный, резкий цвет, который так отличается от мягких полутонов родной Прибалтики.

Когда шла рыба, мастер вместе со всеми на палубе принимал и разделывал ее. Опытный моряк, капитан не пожалел потом, что решился взять на судно художника. Когда почти полгода нельзя ступить на твердую землю, когда злые порывы ветра сбивают с ног, а тяжелые ледяные волны норовят смыть с палубы, когда люди устали, а жизнь на траулере сурова и однообразна, нужна сильная воля и крепкий дух товарищества, иначе станет еще труднее. Калныньш работал наравне со всеми в обледенение и непогоду, стойко переносил непривычные условия.

Да, он почувствовал дыхание океана. У Бьернеберга впервые увидел настоящий шторм. Не тот известный девятый вал с кипящими волнами, которые крутятся, взлетают, сшибаются гребнями. Поверхность океана в эти часы казалась почти ровной. Огромные массы воды, увлекая за собой корабль, поднимались на большую высоту и так держались некоторое время. В картине «Штормовое утро» он передал это незнакомое ему явление.

Написанное после возвращения полотно «Латышские рыбаки в Атлантике» обошло многие страны. На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году это произведение, прозвучавшее одой рыбакам, гимном человеку, противоборствующему стихиям, было отмечено медалью.

...Въезжаем в Саулкрасты. Улыбающееся кованное из меди солнце приветствует нас. Знакомый по картинам художника пейзаж: перевернутые, черные от дождя лодки на песке, коптильня, поселок, речушка Петерупе, заросшая по берегу осокой, и, конечно, море и молочный туман. Маленький, не больше километра, отрезок взморья — излюбленный мотив художника. Но никогда не повторяется состояние; это всегда разное побережье, почувствованное каждой клеткой, каждым нервом живописца.

Есть ритм плавной и ясной тишины, когда человек остается один на один с природой, и в голову приходят добрые мысли, воспоминания, мечты. Этот ритм, образ Балтики, живет в картинах Калныньша, звучащих, как мелодичная, рвущаяся ввысь латышская народная песня.

Приехав как-то к вечеру в Саулкрасты, он вдруг увидел чудо. В предзакатном свете по берегу неслась кавалькада всадников в красных камзолах на великолепных скакунах. Они промчались, как видение, и надолго остались в памяти художника. Два года он обдумывал картину, ходил на ипподром, рисовал лошадей, пока не родилось полотно «На берегах Прибалтики», также получившее Золотую медаль Академии художеств СССР.

От Саулкраст до Инчукалнса, где обычно работает художник, двадцать километров. Эдуард Фридрихович ведет машину мастерски, как и все, что делает. Двадцать девять лет преподает он в латвийской академии. И нет, пожалуй, в республике ни одного живописца, который не учился хотя бы недолгое время у Калныньша.

— Мастер! — почтительно называют учителя и студенты и те, кто давно уже вышел на самостоятельный творческий путь. Хотя такое обращение здесь принято, в нем звучат интонации искреннего уважения и восхищения открытым характером и доступностью известного художника, его системой. Он утверждает латышскую тональную школу в живописи, считая ее наиболее приемлемой в прибрежных странах, где влажный климат накладывает определенный отпечаток на восприятие окружающего.

Каждую весну, выпуская своих дипломников, Калныньш произносит речь, в которой дает глубокий анализ — творческий и человеческий — начинающего художника. И если иногда звучат критические нотки, никто не обижается: все правильно и все пророчески сбывается...

Чем больше он пишет море, непостижимое, вечно изменчивое, тем больше возникает живописных задач. Свежи и глубоки работы семидесятилетнего мастера. «Идеал художника — быть молодым и новым в каждом новом произведении»,— говорил еще в начале века известный латышский живописец и критик Ян Розенталь. Именно так смотрятся пейзажи Эдуарда Фридриховича, органически, естественно влившиеся в русло советского реалистического искусства. Об этом свидетельствует и выставка произведений членов Академии художеств СССР, которая проходит сейчас в Москве, в Центральном выставочном зале.

...В Инчукалнсе, в часе езды от Риги, в просторной и светлой мастерской, пристроенной к небольшому дому, Калныньш заново переживает все, что увидено. И рождаются одухотворенные, исполненные артистизма картины, ставшие поэмой о Балтийском взморье.

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М. В. ВОДОПЬЯНОВА

РОМАНТИК НЕБА

Осенней ночью сорок первого года советский бомбардировщик Пе-8 шел на столицу фашистской Германии. Неожиданно отказал один из четырех двигателей, но бомбардировщик не изменил курса. Он бесстрашно прорвался сквозь огненный заслон зениток и сбросил бомбы на цель. Самолет вел Герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов.

Это имя широко известно в нашей стране. В 1934 году Родина чествовала первых Героев Советского Союза — летчиков, участвовавших в спасении экипажа ледокола «Челюскин». Среди них был и Водопьянов. С тех пор он навсегда связал свою жизнь с Арктикой и сыграл существенную роль в ее освоении. Михаил Васильевич участвовал в воздушных экспедициях на Северный полюс, летал по сложным северным трассам.

В тот день, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Водопьянов возвратился из длительной и тяжелой ледовой разведки. Он сразу же летит в Москву, чтобы с оружием в руках защищать Родину. Ему было поручено формирование первой дивизии Авиации Дальнего Действия, которая наносила удары по Берлину...

По окончании войны Водопьянов вернулся в полярную авиацию, снова водил свой самолет над ледяными просторами Арктики. Последние годы Михаил Васильевич целиком посвятил общественной деятельности и литературной работе. Он написал роман «Киреевы», книги «Полярный летчик» и «Валерий Чкалов», повести и рассказы. Увлеченно, романтично пишет М. В. Водопьянов о жизни летчиков, о том, как сбылось предсказание великого ученого Н. Е. Жуковского: «Русские крылья будут могучи и сильны, как сама нация».

А. ТОМИН

19 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
И АРТИЛЛЕРИИ

Г. МАКАРОВ
Фото автора.

Строй замер по команде «Смирно!» — такую или похожую фразу можно встретить в корреспонденциях из воинских частей. Однако не всякий командир имеет возможность увидеть перед собой сразу всех своих подчиненных. Часть из них — на боевых постах. Никогда не пустуют рабочие места боевых расчетов на позициях Ракетных войск стратегического назначения.

С точностью хронометра в определенное время взмывает над строем красный флаг и по команде: «К выполнению боевой задачи по обеспечению безопасности нашей Родины — Союза Советских Социалистических Республик — приступить!» — расчеты заменяют друг друга.

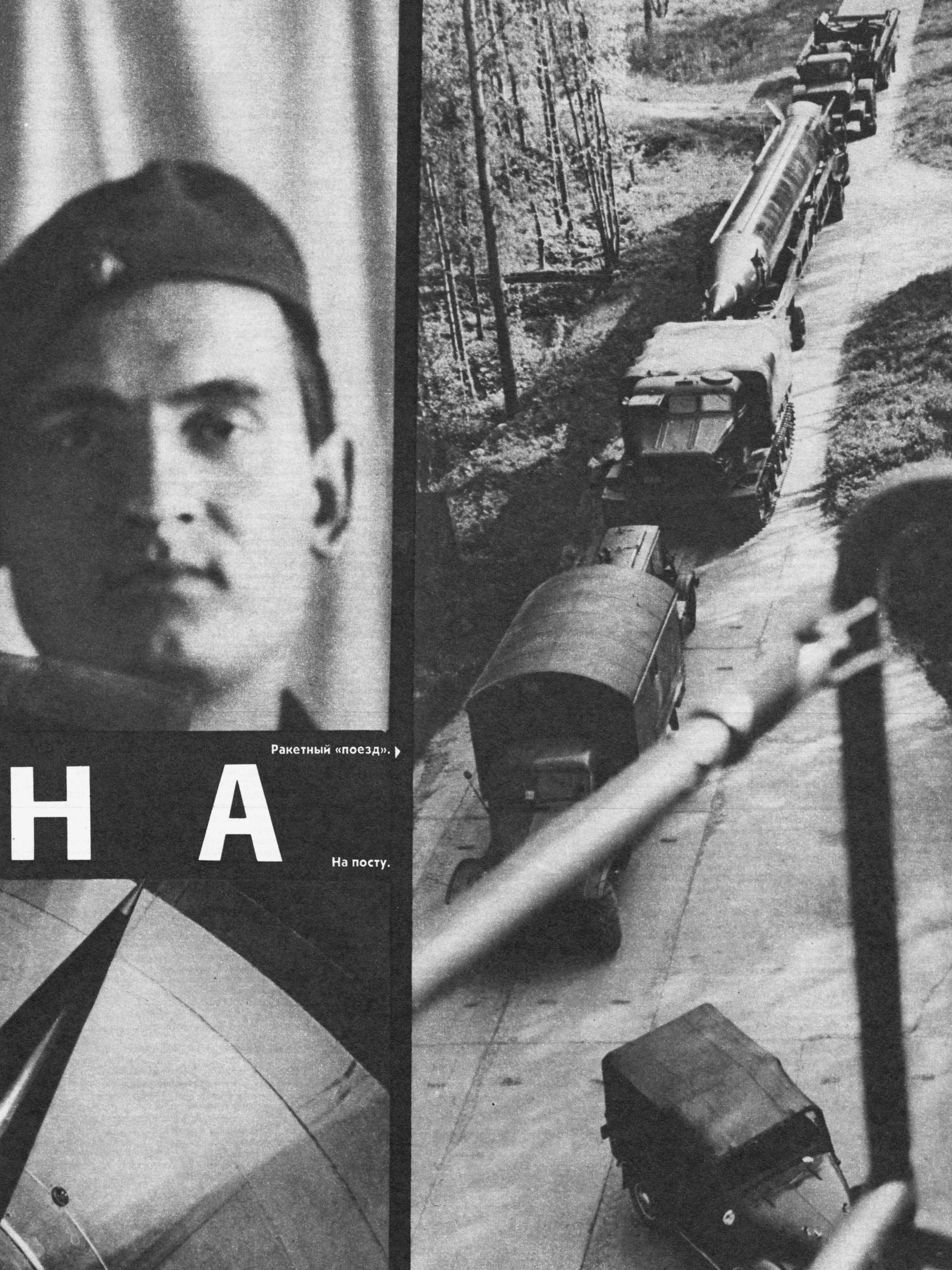
Несут боевое дежурство на своих постах ракетчики. Пощелкивают тумблеры, доносится слабое гудение из серых шкафов с аппаратурой. Чуткая тишина, тишина сосредоточенного спокойствия, но не успокоенности. И особенно ее ощущаешь в шахте, где в безмолвии замерли могучие ракеты.

Эти снимки сделаны в частях Ракетных войск стратегического назначения.

Ракетчики сержант Василенко и рядовой Кавка.

Т И Ш И

Начальник расчета офицер Дмитриев.



Н А

Ракетный «поезд».

На посту.

ТАДЖИКСКОЙ ССР И КОМПАРТИИ ТАДЖИКИСТАНА — 50 ЛЕТ

ОЗАРЕННАЯ СВЕТОМ ОКТЯБРЯ

Мирзо ТУРСУН-ЗАДЕ,
народный поэт Таджикистана,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии

Таджикистан — страна заоблачных гор, глубоких ущелий, бурных рек и цветущих долин... История таджикского народа уходит корнями своими в глубь веков. Но нашей социалистической республике — Советскому Таджикистану — всего 50 лет.

Я думаю о разительных переменах, которые произошли в жизни моего народа за годы Советской власти, и сердце наполняется гордостью за нашу великую Отчизну, где все народы равны и каждый помогает другим в развитии экономики и культуры, в осуществлении программы коммунистического строительства.

Раньше у нас говорили: единственный грамотный в кишлаке — это мулла. Теперь говорят: единственный безграмотный — мулла.

В самом деле, за годы Советской власти Таджикистан стал страной сплошной грамотности. Сейчас у нас около трех тысяч школ, тридцать пять высших и специальных средних учебных заведений, в том числе Таджикский государственный университет имени В. И. Ленина, своя национальная Академия наук, где трудится более четырех тысяч ученых. Добавьте к этому тысячи библиотек, кинотеатров, домов культуры, профессиональные и народные театры, творческие союзы писателей, композиторов, художников, кинематографистов, журналистов, и вам станет понятно, каких огромных успехов добились мы в культурном строительстве за последние полвека.

Я поэт и, конечно, с большим удовлетворением говорю об огромных успехах таджикской советской поэзии. И позвольте мне здесь привести примеры, свидетельствующие о значении поэзии в человеческой жизни вообще.

Один мой друг из Непала долго лежал в больнице. Но вот в его руки попал томик Хайяма. Стихи поэта оказались тем могучим бальзамом, который влил новые силы в угасающую жизнь, и мой друг победил болезнь.

Другой пример из биографии основоположника таджикской советской литературы С. Айни. Однажды он рассказывал о годах своего заточения в темных, зловонных кельях бухарских медресе. Если б не поэзия, мы все сошли бы с ума, уверял он.

С победой Великого Октября солнце свободы ярко засияло над древней таджикской землей. Вместе с другими среднеазиатскими республиками Советский Таджикистан стал маяком светлой жизни на Востоке.

Я думаю о гигантском размахе строительства в нашей республике. За годы Советской власти в Таджикистане построено более трехсот крупных промышленных предприятий,— их продукция идет в десятки стран мира.

Небывалое развитие ирригации и водного хозяйства дало возможность оросить миллионы гектаров целинных земель, благодаря чему таджикские хлеборобы в прошлом году продали государству более 800 тысяч тонн «белого золота», что почти в тридцать раз превысило урожай 1913 года.

На всех участках народного хозяйства царит небывалый подъем, который мы называем поэзией труда. И естественно, что в полный голос заговорила наша новая, советская поэзия. Она началась известным «Маршем свободы» С. Айни, написанным в 1918 году.

Вслед за С. Айни на поэтическом небосклоне звездой первой величины засверкал талант другого зачинателя таджикской социалистической литературы — А. Лахути, одного из крупнейших революционных поэтов Востока. Вместе с ними прокладывали тропы в современной таджикской поэзии П. Сулаймони, М. Рахими и другие советские таджикские поэты старшего поколения.

Теперь у нас много поэтов — хороших и разных: М. Миршакар, А. Дехоти, Х. Юсуфи, Б. Рахим-заде, А. Шукухи, М. Каноат, Г. Сулейманова, М. Хакимова, Л. Шерали, много замечательных прозаиков — Дж. Икрами, Р. Джалил, Ф. Ниязи, Ф. Мухаммадиев и другие. Одни из них уже перешагнули шестидесятилетний рубеж, другие только начинают свой творческий путь. Но всех их роднит большая культура слова, основанная на творческом синтезе богатого русского и классического наследия и лучших традиций советской и мировой литературы, умение подмечать волнующие темы современности, яркий, образный язык.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в своем докладе на XXIV съезде нашей партии особо подчеркнул: «Вызывает большое удовлетворение тот факт, что плодотворное развитие литературы и искусства происходит во всех наших республиках, на десятках языков народов СССР, в ярком многообразии национальных форм».

Одним из величайших завоеваний Октябрьской революции стало создание многонациональной советской литературы, развивающейся в тесном дружеском контакте, что способствует взаимовлиянию всех социалистических культур.

Достаточно сказать, что 72 произведения С. Айни переведены на все языки народов СССР. Жители всех братских республик читают на своем родном языке лучшие произведения таджикских писателей. В то же время на таджикском языке изданы большими тиражами произведения русской и мировой классики, советской и современной прогрессивной зарубежной литературы, в том числе произведения индийских, арабских, иранских, пакистанских, вьетнамских, афганских писателей.

Не менее разительны успехи таджикского театрального искусства. До революции в Таджикистане не имели представления о профессиональном театре, опере, балете, музыкальной культуре. Эта задача была решена в 30-е годы с помощью известных русских деятелей культуры. В это же время в республике открылись первые музыкальные и театральные училища. Одаренные юноши и девушки были отправлены на учебу в Москву и Ленинград.

Вместе с развитием профессионального искусства росло мастерство таджикских актеров, режиссеров, художников, композиторов.

На сцене наших театров, кроме произведений таджикских и советских авторов, с успехом идут бессмертные творения мировой и русской классики: «Отелло» Шекспира, «Коварство и любовь» Шиллера, «Ревизор» Гоголя, «Без вины виноватые» Островского и другие. В Таджикском государственном театре оперы и балета имени Айни постоянную прописку получили произведения Чайковского, Пуччини, Р. Штрауса, Мусоргского.

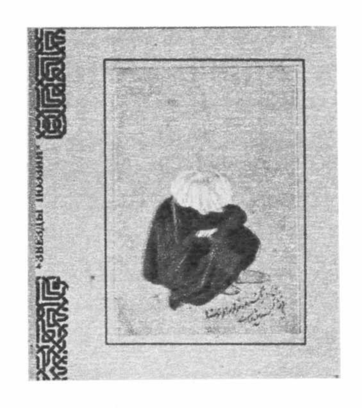
В республике выросли великолепные мастера искусств, многие из которых славятся далеко за пределами нашей страны. Достаточно назвать народную артистку СССР, прославленную таджикскую балерину М. Сабирову, которой рукоплескали Париж, Лондон, Дели, Варшава, Прага, Каир.

Центром научной мысли в республике стала Академия наук Таджикистана, тесно связанная с ведущими научно-исследовательскими учреждениями страны. И вновь я могу назвать имена многих известных таджикских ученых, активно поддерживающих связь с научными центрами зарубежных стран. Например, академик А. М. Мирзоев избран членом редколлегии чехословацкого востоковедческого журнала и членом редколлегии издаваемых в Тегеранском университете трудов по ирановедению. Академик З. Ш. Раджабов — член Всемирного конгресса историков. Директор института физиологии и биофизики растений, член-корреспондент Академии наук республики Ю. С. Насыров — участник многих международных конгрессов, в том числе конгресса по проблемам фотосинтеза, состоявшегося недавно в Италии. Широко известны работы таджикских астрономов, физиков, сейсмологов, медиков.

Социалистическая культура Советского Таджикистана достигла вершин мировой цивилизации. Тем не менее мы хорошо понимаем, что впереди много новых вершин, которые нам предстоит взять. Им нет предела, как нет предела возможностям разума.

В братском содружестве социалистических наций, озаренный светом Великого Октября, руководимый ленинской партией, таджикский народ уверенно смотрит в будущее.

ПОЭТИЧЕСКИЙ НЕБОСКЛОН



Мне не раз доводилось видеть, как слушают стихи в Таджикистане,— впечатление незабываемое. Но, побывав с группой таджикских писателей в приволжских городах России, я убедилась, что таджикская поэзия находит редкостный отзвук и в русских сердцах. Стихи, прочитанные на фарси, неизменно покоряли зал своей музыкальностью, душевной проникновенностью и тем, что объединяется понятием «поэтическая культура».

Богатство традиций, заложенных еще в IX веке великим Рудаки, отцом таджикско-персидской поэзии, развивалось и дополнялось гением живших после него творцов, создававших стихи на языке фарси. Семь имен, наследие семи звезд таджикско-персидской поэзии, донесла до нас память народная.

Объединенные сегодня под одной обложкой — строки Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Руми, Саади, Хафиза, Джами,— какое сокровище являют они людям XX века... Цветные миниатюры XV—XVII веков, иллюстрирующие книгу, как бы вводят нас в мир давно минувший, создают прекрасный фон, своего рода орнаментальный аккомпанемент. И век за веком открывается нам жизнь могучего и талантливого народа.

Только сыну такого народа под силу вопреки официальной идеологии, вопреки и в противовес догмам ислама, воспеть не бога, а человека, его разум, красоту, достоинство. Мрак средневековья не коснулся поэзии Рудаки. Рожденная в тяжелейшее для человеческой личности время, она принадлежала будущему.

Философской вершиной идеи гуманизма, утверждаемой классиками таджикско-персидской поэзии, стало творчество Омара Хайяма. Около двухсот его рубаи откроют перед читателем несравненный мир хайямовской поэзии.

Глубина мысли, остроумие, своеобразие, блистательная отточенность — вот отличительные признаки хайямовских рубаи, формы, избранной средневековым вольнодумцем для выражения своих гуманистических идей, приближающихся к материалистическому пониманию мира.

Язвительны его издевки над показной святостью духовенства, над установлениями шариата, которые он называет бессмысленными, над всем, что гнетет и давит человека. Хайям отрицает бессмертие души, веру в загробную жизнь, смеется над постами и молитвами. Жизнь бесконечная и вечно возрождающаяся, со всеми ее радостями, со всеми ее горестями — вот явление, единственно достойное внимания поэта.

Высокая человечность идей классиков таджикско-персидской поэзии в единстве с прекрасной, своеобразной формой их выражения стала доступна нашему читателю во всей своей многогранности благодаря принципиально новой школе художественного перевода поэзии Востока — советской школе. Суть ее творческого принципа — верность традициям в соединении с бережным отношением к языку современников. Сохраняя максимальную верность оригиналу, быть как можно ближе к сегодняшнему читателю — таким подходом к художественному переводу отмечены произведения, составившие книгу «Звезды поэзии».

В. Державин, С. Липкин, И. Сельвинский, К. Липскеров, Н. Гребнев, В. Звягинцева, В. Левик, Д. Самойлов, другие выдающиеся мастера художественного перевода, продолжая высокие переводческие традиции Пушкина, Гнедича, Жуковского, воссоздали в русском стихе творения поэтических гениев Востока.

Большая часть переводов принадлежит основоположнику советской школы переводчиков-ориенталистов Владимиру Державину. Здесь и блистательные рубаи Омара Хайяма, сохранившие дух и ритмическое многообразие подлинника; исполненные народной мудрости и неиссякаемого лукавства притчи и басни Руми; жизненно-энциклопедической широты «Бустан» певца вполне земной поэзии Саади; гимн, пропетый свободной личности Абдуррахманом Джами, автором утопии о царстве равных.

Благодаря переводческому мастерству поэтов, работавших над этой книгой, их глубочайшему знанию эпохи, ее культуры сегодняшнему читателю открылось богатство внутреннего мира тех, кто жил и кто творил почти тысячу лет назад. В этом немалая заслуга неизменных помощников создателей книги — ее редакторов, литераторов-востоковедов К. Айни и Э. Джалиашвили.

Людмила БОНДИНА

Звезды поэзии. Перевод с фарси (таджикского). Душанбе, «Ирфон», 1974, 520 стр.

Абдужабор КАХХОРИ

ПОЭТ

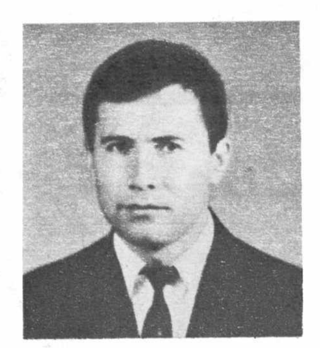
На берегу Каспийского моря есть гора, напоминающая очертаниями скульптурный портрет Пушкина.

Солнце спит в своей постели
На каспийском берегу.
В небе звезды заблестели.
И, в ночной тиши слышны,
Волны Каспия гремели,
Разбиваясь на бегу
О гранатового цвета
Отражение луны —
Не хватало лишь поэта.

На рассвете солнце встало,
Загорелся небосклон,
И тюльпан, как знамя, алый,
Пробудился вместе с ним,
И под ветром зашептала,
Закачалась купа крон —
Каждая была одета
В ослепительнейший нимб...
Не хватало лишь поэта.

Увидав лучи на кронах,
Друг влюбленных — соловей,
Прилетевший в сад зеленый,
Возгласил: «Благослови
Жизнь! И радуйся, влюбленный,
Собирайся поскорей,
Потому что время это —
Для свиданий, для любви...
Не хватает лишь поэта!»
Без поэта в самом деле
Где влюбленным взять стихи?
Песни птичьи б не звенели
И цветы бы не цвели,
Все бы мы осиротели —
От людей и до стихий,
Солнце бы в разгаре лета
Отвернулось от Земли,
Если б не было поэта...

Ароматы первоцвета,
Трели звонкие певцов —
Все схватил в охапку ветер
И сложил к ногам горы,
Где, прообразом поэта,
В камне — Пушкина лицо
Так отчетливо заметно
С незапамятной поры;
Разве можно без Поэта!



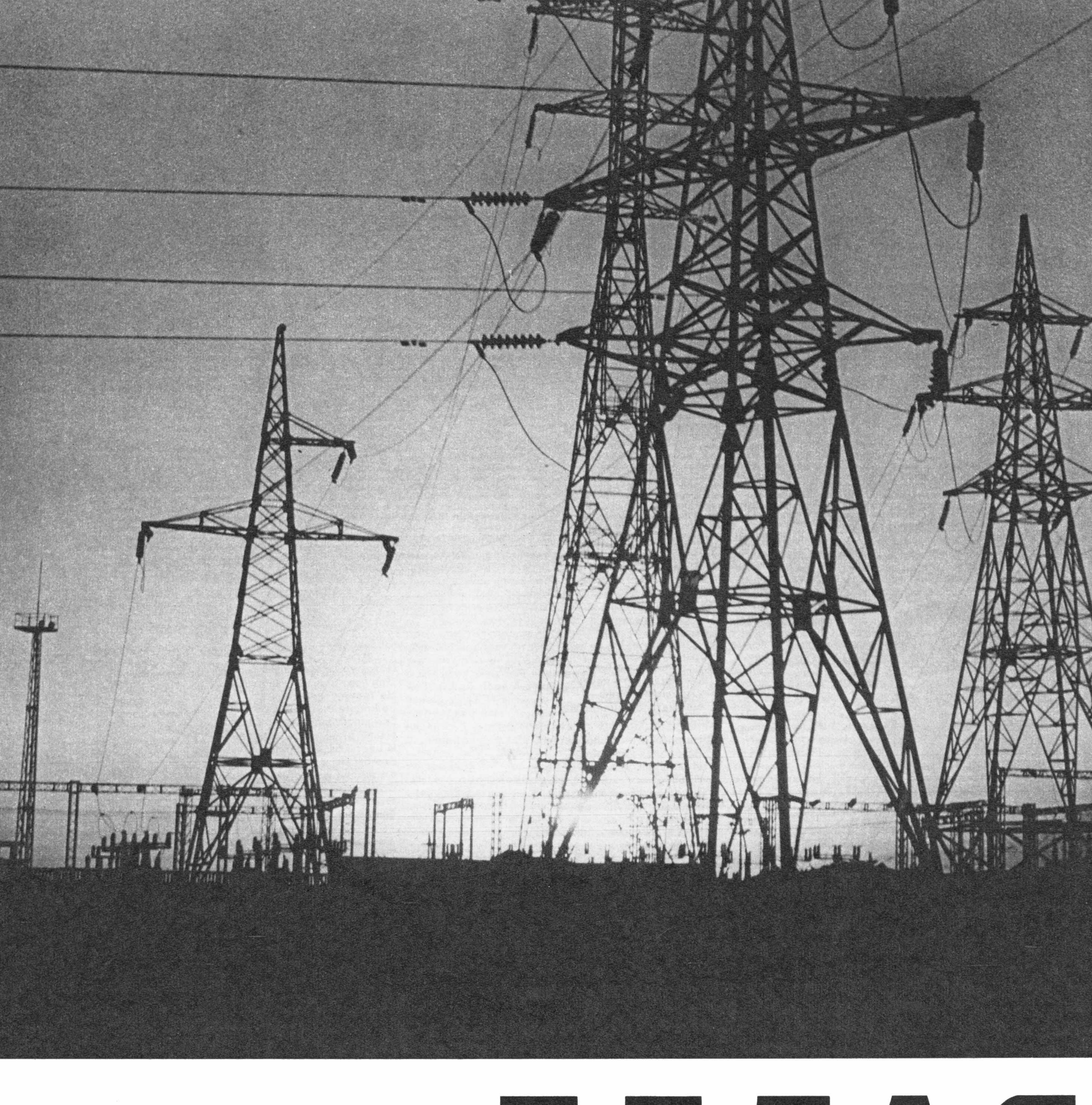
Саидали МАМУР

РОВЕСНИКАМ

Ровесники мои!
Вам мирно спать
В заботливых объятиях земли.
Вы юными ушли
Отчизну-мать
От смерти заслонить —
И не пришли...
Вы юными остались навсегда.
Для вас ни смерти, ни забвенья нет,
И все мои счастливые года —
Всего лишь продолженье ваших лет.
Ровесники...
Собратья по перу...
Нам так писать, должно быть, не дано,
Как пели вы!
И песни не умрут:
Им, как и вам, бессмертье суждено,
Вы сами — песни вечные теперь...

Ровесник мой,
Ты видел, уходя,
Как матери плотней прикрыли дверь,
Чтоб вихрь ночной не разбудил дитя.
Теперь,
Как ни была бы ночь темна,
Но до утра не спится матерям:
Чуть ветер стукнет створками окна —
И женщины уже бегут к дверям,
С надеждой — неутешная вдова
И с верой — мать-старуха: «Он живой!..»
Ведь стоит ей глаза прикрыть едва —
И оживает юный образ твой,
И сердца каждый стук —
Твой стук в окно...
А сердце бьется птицею в плену,
И помнится: вчера, а не... давно
Ты уходил на грозную войну,
И закричал протяжно паровоз,
И женский плач
был эхом для гудка...
Ведь даже нынче
Мать не сдержит слез,
Когда увидит вдруг призывника...

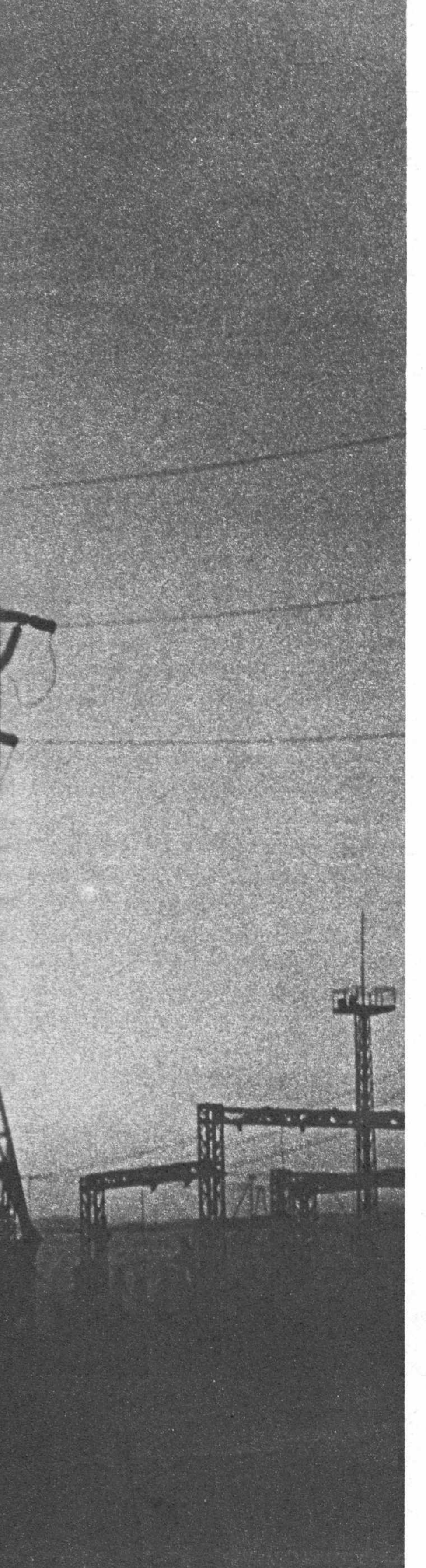
Перевел с таджикского Леонид ТЕМИН.



БЕЛАЯ ДОРО

«...Однажды пройдя по советской Средней Азии, полюбишь эту землю глубокой любовью, снова и снова будешь к ней возвращаться... Люди подняли головы, стряхивая тяжелый прах столетий, новая влага течет в их жилах, они растут. Это быстрый, богатый и урожайный рост, который ты видишь, даже если только проходишь мимо них. И если ты любишь человека, то полюбишь этот край, который покажет тебе его силу и творческие способности в полном сиянии».

Юлиус Фучик



Н. ХРАБРОВА,

фото А. ГОСТЕВА специальные корреспонденты «Огонька»

Эти строки написаны тридцать девять лет назад — очерк Фучика был опубликован в «Руде Право» 3 ноября 1935 года...

Я привезла из поездки в Таджикистан это самое, фучиковское, ощущение сильного пульса от тока новой влаги в жилах людей древнего рода и древней культуры.

Много, много сотен километров проехали мы по Белой дороге. И, чувствуя рядом такое давнее и такое сиюминутное незримое присутствие Фучика, скажу: в начале этой осени в Таджикистане я видела удивительные доказательства могущества Советской власти. Невозможно не изумиться тому, что сделал великий мастер — советский таджикский народ в своей такой маленькой, такой прекрасной и такой неудобной стране. Неудобной? Это еще слишком мягко сказано: ведь 93 процента территории Таджикистана занимают горы, а для полей, садов и водохранилищ, городов и кишлаков остается только семь. Полезно узнать, что может сделать человек на дне тесных долин, в тисках ущелий, на склонах высочайших гор.

— Рохи сафед,— сказал Джабар Расулович Расулов, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана, после того, как мы изложили ему наши намерения и вопросы,— счастливой вам поездки по нашей республике. А знаете, что такое «рохи сафед»? Да, в общем, правильно — счастливого пути. А если дословно, то «белой», то есть чистой, ясной, неомраченной дороги. Дороги у нас высокие, вопросов у вас много — пусть ответит на них сам наш народ.

ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Город у подножия Гиссарского хребта... Разве это о нем рассказывал мальчиком привезенный сюда Мирзо Турсун-заде, как он был до горьких слез разочарован увиденным: ему обещали г о р о д, а привезли на пустырь, окруженный горами, по-кишлачному грязный, бедный, пахнущий горьким дымом, по-кишлачному не отличающийся цветом от желтой глины, от желтого камня?

Ведь сейчас, если смотреть сверху, с любого перевала, Душанбе кажется экзотическим цветком, расправившим лепестки на горячих ладонях гор.

Есть архивные сведения, что пятьдесят лет назад, в 1924 году, в Душанбе было всего четыре дома с деревянными полами; все прочее жилье — глинобитные кибитки на утоптанной каменистой земле. Пятьдесят лет назад в Душанбе жило всего 283 человека. И, может быть, пунктуальные архивисты занесли в какую-либо свою опись, что среди 283 жителей было несколько стариков из тех, кто вечером, в час прохлады, имеет обыкновение брать рубоб и высоким, дрожащим голосом петь о давнем, о том, что когда-то кишлак Душанбе славился большими пестрыми базарами, что везли отсюда хлеб в благородную Бухару, а Гиссарская долина была покрыта паутиной караванных троп; что начинались эти базары в день недели, который соответствует нашему первому дню, отчего и пошло такое название: «Душанбе» значит «Понедельник».

Звенели в этом краю имена великих математиков, философов и поэтов. Бируни и Рудаки, Фирдоуси и Хафиз, Авиценна и Омар Хайям... Бедна была бы без этих имен, без этих людей вся культура Востока и Запада. К пятидесятилетнему юбилею республики Таджикская Академия наук выпустила книгу, которой почти тысяча лет. Она вышла на двух языках — на фарси-йе-дари и на арабском, перепечатана с древней рукописи и называется так:

Абу Рейхан Бируни

«Книга вразумлений в начатках искусства астрологии».

В основе наших сведений о земле и небе, о природе наших мыслей и чувств лежала наука, поэзия, философия Востока, мудрость людей из Бактрии и Согдианы,

из стран предков нынешних таджиков.

Потом были кровавые и огненные валы разных нашествий и войн. За ними потянулись долгие века нищеты, неграмотности, забвения всего того, чем славна была древняя культура Востока.

И вот вспыхнул над страной высоких гор свет Октября.

Столицей республики, самой молодой из среднеазиатских столиц, стал кишлак Душанбе.

Листаю книгу, в которой опубликованы снимки первых городских лет Душанбе. Здание правительства — длинная глинобитная кибитка под космами тростниковой крыши. Такая же кибитка — здание общежития правительства. Улица в Душанбе — глухие дувалы, между ними непролазная грязь да заскорузлые ветки нескольких карагачей. Водонос в Душанбе — босой человек с кожаным, наполненным водой мешком на спине.

Приехав сюда впервые семнадцать лет назад, водоноса я уже, конечно, не застала, и большинство зданий в городе были каменными. Но еще немало было глинистых, немощеных улиц и глинобитных кибиток.

А теперь я, уезжая и возвращаясь, трижды встретила понедельник в городе по имени Понедельник. И с каждым понедельником радовалась городу все больше и больше.

По ночам здесь в гуще аллей и парков горят голубые луны ламп. По ночам на сиреневый асфальт улиц выезжают моечные и поливальные машины. По ночам в бетонных арыках воркует прибежавшая с гор вода, поит цветы и деревья. В часы прохлады нежно пахнет ярко-розовая индийская сирень, что до самой осени цветет на душанбинских улицах, и та китайская роза, которая у нас и в комнатах не очень-то охотно зацветает. Здесь на улицах перед рассветом раскрывает она свои белые, розовые и красные цветы. Рано утром в больших, с лоджиями и национальной лепкой, с газом и такими бесценными здесь душем и ванной домах просыпаются 374 тысячи жителей и отправляются на стройки и в детсады, в институты и ясли, на заводы и в школы...

Наверное, жизнь каждого из нас в какой-то мере отражает жизнь всей нашей страны. Судьба академика Асимова — это прямой скол с судьбы Таджикистана. Можно сравнить его жизнь с крутой горной тропой на Памире — со дна ущелья в поднебесную высоту. Можно сравнить с историей всей новой таджикской науки и культуры — прямо из тьмы безвременья на международную арену.

— Отец мой был неграмотным крестьянином,— рассказывает Мухамед Сайфетдинович,— а как только открылась советская школа, он первым привел в нее своих детей.

Мухамед Сайфетдинович начал войну командиром орудия на Ленинградском фронте и пробыл в армии до 1946 года.

Нет, он не может сказать, что все послевоенное время было отдано науке. Республика набирала высоту, и кандидат наук Асимов работал на разных ступенях этой высоты. Для совершенствования в знаниях оставались вечера и ночи, второе дыхание. Три науки тянули его к себе — философия, история и математика. Пожалуй, не скажешь даже, которой из трех он отдал предпочтение. Он стал доктором философии и занимается философией математических категорий. А что касается истории, то здесь он по-настоящему энциклопедичен, особенно во всем, что касается истории восточных знаний.

— С моими детьми — а их у меня восемь — я поступил так же, как мой отец: сам отводил их в школу,— рассказывает Мухамед Сайфетдинович.— Трое уже окончили высшие учебные заведения, двое еще учатся в институтах, трое — в средней школе. Я преклоняюсь перед уважением моего отца к науке, перед его проницательностью. Но что смог бы он сделать, если бы не Советская власть?

Многое в Душанбе, во всем Таджикистане началось с библиотеки имени Фирдоуси. Люди шли сюда за пособиями по экономике, строительству, сельскому хозяйству. Перелистывая подшивки, я сидела в читальном зале рядом с девушкой Хосият.

— Я студентка,— тихонько рассказывала Хосият.— Библиотека — это мой второй дом. Знаете, как она началась? В 1926 году сюда приехал один русский, привез тысячу книг...

Театры, вузы, административные здания, голубая тень аллей, чистота проспектов, простор новых микрорайонов — это современный Душанбе. Его главная улица — десятикилометровый проспект Ленина — из-под зеленого тоннеля аллей вырывается в предгорье, в Варзобское ущелье. А там еще совсем недавно все было, как 1000 лет назад: среди каменных скал бежал Варзоб, и обнаженно пусты были его берега. Теперь здесь дома отдыха, сады, чайханы, дачи.

В противоположном конце города растет и набирает силу Академгородок. Здешние институты сейсмостойкого строительства и сейсмологии известны в мире. Сотрудничают с союзными и зарубежными учеными институты астрофизики, востоковедения, биофизики растений, физико-технический, математики. В Институте математики директором работает самый молодой академик Таджикистана Абдухамид Джураевич Джураев. В 28 лет он стал кандидатом, в 34 — доктором наук, немного позднее — академиком. Джураев занимается дифференциальными и интегральными уравнениями математической физики, у него в этой области есть своя школа—десять молодых ученых— и еще малая академия наук: математики ведут работу среди школьников.

Вот так — из глинобитной кибитки в Академгородок — шагнул Душанбе.

ОПРОКИНУТЫЕ ГОРЫ

— О аллах, зачем ты придумал пекло, если на земле есть Нурек! — будто бы говорили некогда истомленные жарой жители Нурека. Может, говорили, а может, и нет, во всяком случае, именно они к природному зною добавили накал труда.

Таджикистану хорошо знакомы трудности и радости больших строек. Таджикские крестьяне входили в рабочий класс по ступеням дорожного и ирригационного строительства.

Страной бездорожья был Таджикистан до Советской власти. Все грузы по вьючным горным тропам люди переносили на собственной спине по шатким горным оврингам. До 1926 года здесь не было ни одного километра колесных дорог, не было и колесного транспорта.

Без ликвидации бездорожья нечего было и говорить о строительстве социализма.

В 1925 году заместителем начальника строительства железнодорожной линии Самсоново — Термез стал замечательный человек Вагаршак Карамов. Первыми рабочими молодой республики были железнодорожники. Новую ветку из Термеза в Душанбе они тянули через пески и болота, сквозь заросли тугая и камыша. Камыш был не только помехой, но и помощником — по болотам и пескам сначала прокладывали вспомогательную ветку на камышовых щитах, от ползучих песков загораживались камышовыми же щитами: Карамов сам привел в Душанбе и первый паровоз. С 1931 по 1936 год под руководством Карамова было проложено 8 тысяч километров дорог разного типа.

В 1940 году началось и завершилось строительство Большого Памирского тракта. Душанбе надо было соединить автострадой с центром Памира — Хорогом. Надо было пройти недоступные ущелья, поднять дорогу на высоту 3 300 метров, одолеть бешеные горные реки. Через реки переправляли грузы на салях — пузырях из бычьих шкур, накрытых решетками из прутьев. На этих салях с 27 мая по 27 июня 1940 года было переправлено через скачущую реку Хингоу: 1 000 строителей, 1 000 тонн груза, сотни лошадей, верблюдов, баранов. 22 тысячи человек строили дорогу. Естественно, большинство из них — таджикские и памирские колхозники.

За три с половиной месяца, взорвав и переместив 5 миллионов кубометров грунта, дорожники проложили путь на Памир.

Было еще освоение Вахшской долины: строительство дорог, электростанций, ирригационных сооружений. Сто километров с севера на юг, от семи до тридцати с запада на восток. Но долина долгие годы была всего лишь горячей, необитаемой пустыней с зачатками неустойчивого земледелия. Крестьяне разводили скот, местами выращивали немного хлопка. То просыпались, то затухали давние традиции искусственного орошения. А весенне-летняя сумма зноя была высокой — свыше 5 000 градусов. Как раз для хлопка — ведь чтобы вырос и вызрел самый высокородный его сорт, тонковолокнистый, нужна сумма температур в период роста в 4 300 градусов. И вот в 30-х и 40-х годах Вахш был направлен в долину, раздроблен на сотни тысяч каналов и арыков. Он напоил пустыню и сделал ее цветущим садом. Крестьяне, ранее прокладывавшие кетменем арыки, стали экскаваторщиками, трактористами, прорабами на строительстве сложных ирригационных сооружений.

Мы видели совхоз имени Куйбышева — как бы модель Вахшской долины. В 1935 году на территории совхоза был построен головной канал. А годом позже младшим агрономом по хлопку в эти места приехал Юрий Дмитриевич Воронин. С 1946 года он тут директорствует. Стал Героем Социалистического Труда. Кандидатскую диссертацию Юрий Дмитриевич защитил на любимую тему — «Пути повышения рентабельности хлопковых хозяйств в Вахшской долине». Около 40 центнеров с гектара дает тонковолокнистый хлопок в совхозе имени Куйбышева. Много это или мало? Для сравнения: этот же сорт хлопка в Бразилии дает чуть больше шести центнеров с гектара.

А теперь — Нурек. Пулисангинское ущелье на Вахше. Недаром называют дикой эту реку: как бесконечное стадо белых неприрученных джейранов, скачет она вниз по ущельям. Конечно, более удачного места для ГЭС просто невозможно придумать — для этого всего-навсего надо свернуть гору, опрокинуть ее головой вниз в ущелье и перекрыть русло пенящейся реки. А горы сворачивать тут умеют. С какой вершины ни глянешь на ущелье, все равно окружающие хребты огромны, а машины на строительной площадке крохотные, как муравьи. Всемогущие муравьи! Не в скоплении людей, как было, например, на строительстве Большого Памирского тракта, теперь здесь сила, а в скоплении машин.

— Мы даем Объединенной энергетической системе Средней Азии дешевую энергию,— рассказывает секретарь Нурекского горкома партии Додихудо Рахматович Рахматов.— Здесь ведь никого не надо переселять, не надо срубать лесов, не надо проводить каналов — вода сама идет по ущельям. Ни один гектар драгоценной таджикской земли не залит водохранилищем — оно удобно расположилось в естественной чаше ущелья длиной в семьдесят километров.

На полную мощность — в 2,7 миллиона киловатт — ГЭС станет работать в 1978 году. Сегодня дают ток первые три агрегата, вода из водохранилища используется для полива таджикских и узбекских хлопковых полей.

Сейчас идет насыпка плотины. Справа от нее пышет зноем гора Нор, что по-русски значит «Жа-

В своем саду, в своей семье. Гулнамо Одинаева.

Душанбе. Проспект Ленина.

«Чор Бед» — кафе в Варзобском ущелье.

На развороте вкладки:

Помнит и чтит великого Рудаки новый Душанбе.

Хольби Имамова — девушка из Вахшской долины.

За светилами нужен глаз да глаз.

НСТИТ
И КИШЛОКИ
РУДАКИ
ОСТОЙНО
ЮБИЛЕ

ра»; из-за горы вытекает отстоявшийся в водохранилище, отдохнувший, прозрачно-зеленый Вахш. Вокруг в красноватом просторе гор тоненькими иголочками сверкают опоры ЛЭП. Плотина растет.

Распоряжается здесь совсем молодой человек — гидротехник, прораб СУ плотины Виктор Федорович Шалагин. Он рассказывает:

— Родители мои в Средней Азии уже давно, отец — начальник отдела на «Ташсельмаше», мать — инженер-проектировщик в Узгипросельстрое. А я, когда поступал в институт на факультет гидротехнических сооружений, уже знал, что буду работать здесь. Почему? Это же понятно: здесь все неповторимое, новое, здесь все набирает темпы. Ведь плотина — самая высокая в мире, ее максимальная строительная отметка — 317 метров. А метод строительства! Конус горы опрокидывается в конус ущелья и прикрепляется к нему цементом. Здесь так интересно работать и жить, как, наверное, нигде. Знаете, какая сейчас насыщенность механизмами на плотине? На двадцать пять рабочих — до сорока машин.

Знал о своей будущей судьбе и бригадир изолировщиков СУ ГЭС Мухаббат Шарифов, великолепный мастер своего дела. Именно потому, что знал, поступил заблаговременно в Нурекский энергостроительный техникум. Ему недавно исполнилось 33 года, он награжден орденом Трудового Красного Знамени, избран депутатом Верховного Совета Таджикской ССР и возглавляет бригаду из 36 квалифицированных рабочих — специалистов по монтажу электроагрегатов. Мальчик из кибитки стал строителем и жителем нового индустриального города.

Нурек — родоначальник нового Таджикского промышленного комплекса, его исток и кормилец. Отсюда энергия пойдет в Регар, где строится сейчас большой алюминиевый завод, на Яванский электрохимический комбинат, на Анзобский горно-обогатительный комплекс, на строительство железнодорожных линий, на десятки шахт, заводов, фабрик — одни уже действуют, другие строятся, третьи еще проектируются.

— Почему этот новый индустриальный центр Средней Азии создается именно в Таджикистане? — спросили мы секретаря ЦК КП Таджикистана Абдурахмана Дадабаева.

— Наша республика богата сырьевыми и энергетическими ресурсами, — ответил он. — По гидроэнергетическим ресурсам Таджикистан занимает второе место в стране, уступая лишь Восточной Сибири. Специалисты рассчитали: именно там, где сейчас формируется комплекс, на реках Вахше и Пяндже, можно построить 14 мощных ГЭС с общей годовой выдачей энергии в 120 миллиардов киловатт-часов. Геологи давно работают в наших горах, и даже приблизительные итоги их исследований весьма отрадны и перспективны для нас.

В полукольце желтых отрогов Гиссарского хребта расположилась строительная площадка Регарского алюминиевого завода. Коллектив многонационален, как повсюду на больших стройках; большинство рабочих — таджики. Знакомимся с Гулямом Арзыкуловым, Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета республики нескольких созывов.

Немолод уже Гулям-ака, под шестьдесят ему.

— Послушай, — спрашивает он меня, усмехаясь в усы, — тебе, наверное, про меня уже рассказывали?

— Рассказывали.

— Э, не знаю, хвалили или бранили, а что про работу говорили — верно. Тридцать шесть лет на стройках, на Фархадской ГЭС, на Кайраккумской, на Головной Вахшской, здесь с первого колышка. Герой Труда, орден Октябрьской Революции имею. Депутат. Немало, да? А ты вот что запиши: я родом из Гармского района, из кишлака Таргак. Когда там создавали колхоз, я первым понес заявление, первым — понимаешь? Вот откуда все пошло.

— Говорят, будто вы каждого человека «прочесть» умеете.

— Э, прочесть! Не каждого. Читаю тех, кого люблю. А люблю тех, кто любит работать. У меня опыт большой. И еще запиши: брат мой Назри Арзыкулов тоже тут, на третьем участке, бригадиром бетонщиков работает. Таджикский рабочий класс молодой. Мы сначала были первыми колхозниками, потом — первыми рабочими. Так сердце подсказывало. Теперь ум говорит: правильно поддержали свою, народную власть.

Очень мне понравился Гулям-ака. Благодаря ему вдруг по-новому взглянула на огромное понятие «рабочий класс». Здесь на всех объектах промышленного комплекса понятие это как бы собрано в фокус и ярко освещено. Смелые, умные, уверенные, все понимающие и все видящие люди, как Гулям-ака Арзыкулов, как Мухаббат Шарифов, — это сердцевина народа, его совесть, его руки.

Испытание большим и сложным строительством проходит сейчас таджикский народ. И блестяще выдерживает это испытание.

САД В НЕБЕ И ЛЕПЕШКИ, ИСПЕЧЕННЫЕ ДЕПУТАТОМ

То падает вниз, то взлетает вверх дорога, проносятся мимо Язгулемский и Ванчский — высотой в шесть и в семь километров — хребты. Рушатся с хребтов реки Обихингоу, Бартанг, Пяндж и Гунт, и нет в мире ничего равного этой красоте.

За то время, что я не была здесь, еще выросли, в богатырей превратились тополя в Хороге.

Хорог. Мужественное горное слово на русский слух. А означает оно «колючка». От самого распространенного на Памире растения пошло название.

Над Хорогом, на высоте 2 320 метров, у самого подножия остро-го коричнево-серого пика Дзержинского, на небольшом плато, приютился Памирский ботанический сад.

Сто три года назад экспедиция Федченко открыла Заалайский хребет Памира. Всего-навсего сто три года назад началось систематическое исследование этой горной страны. А Памирский ботанический сад заложен и вовсе недавно, в 1940 году, на основе биологической базы Среднеазиатского государственного университета. Назначение сада — исследовать биологические ресурсы Памира, найти пути к его сельскохозяйственному освоению.

За тридцать лет существования сад испытал 20 тысяч видов злаков, бобов, овощей, фруктов, цветов. Те, что лучше всего вели себя на Памире, переданы колхозам. Испытана мировая коллекция картофеля из 3 тысяч образцов, а колхозам передано 12 сортов. Испытано 138 сортов помидоров, колхозам передано 10. Для селекционеров даже в обычных условиях это немало. А ведь Памир есть Памир. В таком же соотношении из сада на колхозные поля и в сады выходят разные виды и сорта фруктов и овощей.

Сад сделал самое главное — не только доказал, что на Памире может расти много полезного, но и научил памирцев выращивать это полезное. Русские ученые первого поколения помогли воспитать плеяду молодых таджикских ботаников и биологов.

В крохотных огородиках в каждом памирском кишлаке растут картофель, огурцы, лук, морковь, помидоры не хуже, чем на Украине. И это достижение московских, ленинградских и таджикских ученых кажется мне не менее важным, чем строительство электростанций и заводов в стране гор.

Вот уж где земля совсем на вес золота, так это на Памире. Ее собирают отовсюду, где только она есть, сносят на крохотные террасы, обрабатывают, засевают. Механизмы здесь не помощники, им негде развернуться среди скал. Каждый квадратный дециметр земли здесь ухожен, оглажен руками, полит чистой водой горных рек и ручьев.

Ишкашимский район, колхоз «Гарм-Чашма». Здесь в кишлаке Сист живет Гулнамо Исломовна Одинаева. Тесный кишлак приютился между ущельем и скалой. В каждом дворике — десяток тополей, в каждом садике — несколько яблонь и абрикосовых деревьев, несколько грядок с овощами.

Гулнамо девочкой уехала отсюда в Ишкашим, в районный центр. Поселилась в интернате, чтобы окончить среднюю школу. А как окончила, сразу вернулась в свой кишлак — работать в колхозе. Была начитанной и на многие вопросы умела точно ответить, вот и потянулись к ней люди. Даже седые старики не считали зазорным ходить за советом к ней, девчонке. Избрали ее депутатом сельсовета. Потом выбрали в Горно-Бадахшанский областной Совет. Единодушно захотели на колхозном собрании, чтобы она стала бригадиром комплексной бригады. Гулнамо вступила в партию. Сколько дел ни делаешь, сколько обязанностей ни выполняешь, они все растут почему-то. Забота о школьных делах — ее депутатская забота. О дорогах — тоже. И об урожае не только в своей бригаде, но и во всем районе — ее забота. А рабочий день такой: утром по крутой горной тропинке — на пастбище. Потом вниз — на сенокос, на жатву, на уборку овощей. Сенокос — косой, жатва — серпом: механизмам же не развернуться. Отсюда надо опять наверх, на пастбища. А дома у нее четверо детей. Хороший характер у Гулнамо — веселая, доброжелательная, спокойная, она все успевает.

— Не успевала бы, если бы не Сафар, — объясняет Гулнамо.

— Что тут было, — рассказывает Сафар Сайфов, ее муж, — что было, когда Гулнамо избрали депутатом Верховного Совета СССР! Что было, когда она на сессию в Москву поехала! Я думаю, она сама боялась, только не говорила: люди ее весело провожали, нельзя было настроение портить. А я-то уж точно испугался: как останусь один с четырьмя детьми да с колхозной пшеницей, за которую я в ответе? Я обязался получить семнадцать центнеров с гектара, а пшеница такая растет, что, может, и двадцать пять получу. А тут надо домохозяйкой стать. Ну, раз надо — стал домохозяйкой. Неплохо получилось, женщины всего кишлака помогали.

Вернулась Гулнамо на свои памирские высоты с московских, впервые открывшихся ей высот счастливой и встревоженной.

— Хороший город, хорошие люди, следующий раз поеду, как к себе домой, — говорит Гулнамо. — А тревожусь потому, что думаю, как теперь жить и работать по-новому, лучше.

Хозяева накрывают в маленьком специально для гостей домике дастархан: зеленый чай и все, что к нему полагается, в том числе и свои огурцы и урюк из своего сада. И еще теплые лепешки.

— Хороши лепешки! — хвалим мы.

Жаль: кончается даже самая длинная дорога. Кончаются интервью с людьми Таджикистана на его Белой, счастливой дороге. Жаль: обо всем увиденном не расскажешь.

* * *

В Таджикистане — праздник. Сколько солнца, песен, ярких нарядов сегодня на склонах гор, в глубине ущелий, на бархатных пашнях долин! Сколько высокой радости в этом празднике!

...В фольклоре всех народов есть мечта о будущем, о свободном труде, о справедливости. Есть такие мечты и в древней поэзии Таджикистана. Праздник в Таджикистане — это торжество осуществленной мечты. Нет, больше! Ведь действительность оказалась богаче, щедрее и ярче, чем самые фантастические, самые отважные мечты.

Страна поздравляет тебя, Таджикистан, с праздником великих свершений.

Они строят Яванский электрохимический комбинат.

Электрический мост Нурек — Регар.

Памирский танец в Хороге.

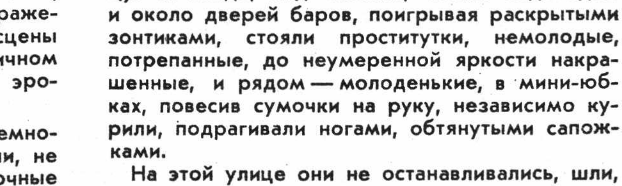
Марифат Хатамова вышивает золотые цветы.

Нурекская ГЭС.

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

БЕРЕГ



Когда они поднялись из метро на Реепербан, дождь перестал, тучи низко клубились над районом порта, над невидимым морем, небо набухло, тяжелыми глыбами ползло над кровлями.

Все здесь, даже вблизи метро, непохоже было на центральные, благопристойные улицы вокруг отеля, все говорило здесь о жизни иной, праздной, неестественно возбужденной, необычной, кем-то придуманной (на один вечер, на одну ночь, на один час) для туристов и торговых моряков разноязыкого мира, сошедших на сладкий, безотказно гостеприимный берег Гамбурга, готовый удовлетворить желания каждого, кто склонен был к разнообразным удовольствиям больших цивилизованных городов.

— Вот он, знаменитый район Сан-Паули,— сказал Никитин.— Секс. Вино. И увеселения.

— М-да,— промычал Самсонов.— Вижу.

Тут ярчайше пестрели на всех углах грубо разрисованные вывески баров, рекламы маленьких отелей свиданий, ресторанов, американских клубов, повсюду бросались, лезли в глаза названия дансингов, ночных кабаре, стриптизов — «Табу», «Калибри», «Мулен Руж», «Сафо» — и смотрели через стекла витрин цветные фотографии оголенных крупнотелых девиц, лежавших в прозрачных ваннах, или распростертых, как бы распятых на коврах, или закрывших испуганно-капризно лица распущенными волосами и игриво растопыренными пальцами то место, где должен быть фиговый листок; и повсюду странно выделялись торчащие груди, запрокинутые в позах изнеможения головы, напряженные шеи, гибкие руки в застенчивом движении ложного целомудрия, зрелые женщины и совсем девочки с невинно потупленными глазами, будто защищающие свою вдруг открытую наготу томной полуулыбкой. Это было какое-то перемешанное обилие женской плоти, обнаженная тайна напоказ, разъедающий толчок смещенного воображения, ядовито и искусственно создавшего сцены в нарочитом по своему бесстыдству уличном театре для заходивших сюда любителей эротического забвения.

В этот час Реепербан был довольно немноголюден, еще не зажигались ночные огни, не светились рекламы, еще не работали ночные кабаре, не открывались дансинги, еще не было вечернего оживления, какое мог представить Никитин по хаосу зазывных вывесок клубов, кинотеатров и стриптизов, но что-то работало уже в недрах улицы, с усталой механичностью начинало или продолжало ночную жизнь, темно шевелилось за стенами небольших отелей, за витринами стриптизов, во дворах и подъездах домов. И деятельного вида, атлетического сложения швейцары в форменных пальто, непроспанно зевая, расхаживали у закрытых дверей, порой отбегали на середину тротуара, наперерез прохожим, с нагловатой решительностью преграждали дорогу, вывертом показывая в ладонях фотографии, какие-то билеты, выкрикивая хрипловатой скороговоркой:

— Новое порно! Вход три марки!.. Три марки для информации! Очень дешево!..

— Пять марок за пятнадцать минут! Молодая шведка... Две красивые мулатки, которые хорошо понимают друг друга!.. Шведский секс! Французский вариант!..

Здесь, подобно теням, появлялись на тротуарах бесцветные, бледноликие молодые люди с торговыми плоскими глазами, в узконосых ботинках, скользящими телодвижениями выступали из подъездов, возникали из глубины улочек, вполголоса предлагая зайти куда-то. В то же время благообразно седые, одетые в черное мужчины беспощадно ловящими взглядами сутенеров следили издали за работой молодых людей, зорко проглядывали улицу. А везде, под окнами, возле подъездов и около дверей баров, поигрывая раскрытыми зонтиками, стояли проститутки, немолодые, потрепанные, до неумеренной яркости накрашенные, и рядом — молоденькие, в мини-юбках, повесив сумочки на руку, независимо курили, подрагивали ногами, обтянутыми сапожками.

На этой улице они не останавливались, шли, не отвечая на оклики, и теперь точно продирались через расставленную впереди колючую проволоку неотступно и секретно шепчущих бескровных молодых людей, держащих открытки в рукавах, сквозь как бы с угрозой наведенные взгляды солидных сутенеров, сквозь неуловимо сопровождаемое внимание дневных проституток, пожилых, тяжелых, матеро-опытных, и этих юных, внешне ангельски чистеньких, беловолосых, раскрывающих навстречу словно впервые подведенные синевой веки школьниц. И Никитин, чувствуя это окружение унизительной оголенности намерений, кем-то узаконенных, обыденных в своей простоте, подумал, что, видимо, здесь знали все, что можно было знать в темной бездне человеческой похоти, где заранее подробно были выучены роли, жесты, слова, позы, чтобы за цену, установленную по вкусам, можно было купить и продать вместе и в отдельности ноги, губы, грудь, живот, голос, всю изощренную воображением искусственную страсть,— он подумал об этом и внезапно ощутил тупое, гнетущее насилие над собой, и мохнатой лапкой сдавило сердце тихое удушье.

Они молча миновали квартал дневных проституток, и тут, на углу, перед заворотом в улочку, сутулый, старообразного вида швейцар, какие обычно стоят подле дверей отелей, в длиннополой форме, украшенной серебристыми галунами, плохо выспавшийся и плохо

Продолжение. См. «Огонек» №№ 45, 46.

выбритый, искательно закивал им морщинистым переутомленным лицом и заговорил полушепотом, умоляя подобострастно:

— Господа, только три марки... показываем короткие французские фильмы, привезенные с Плац Пигаль. Я вижу, вы не немцы, вам интересно будет взглянуть. Последние фильмы. Вот билеты, господа, три марки, это стоит... уверяю вас...

— Зайдем, что ли? — спросил неожиданно Никитин без полной уверенности, обращаясь к Самсонову.— Посмотрим ради интереса. Все надо знать, если так... Как ты?

— Давай уж, давай, бог с ним, соблазн есть,— ответил, неизвестно почему багровея, Самсонов и, отсчитав швейцару шесть марок мелочью, пробормотал: — Знать так знать...

Они вошли в узкую дверь, услужливо раскрытую забежавшим сбоку швейцаром, спустились по тускловатой каменной лестнице в подвал, пахнущий пряной сыростью, теплым одеколоном, отодвинули тяжелую захватанную бархатную портьеру, закрывавшую вход перед концом лестницы. И в слоистой темноте крохотного зала замерцал, засветился впереди маленький экран, где нагая женщина на краю широкой постели в истоме обнимала мужчину за мускулистую спину, терлась затылком о подушку — шел фильм без слов, без звуков, фильм движений, изображающий двоих в номере отеля.

Никитин с порога приглядывался в полутьме зальчика, отыскивая места,— стульев нигде не было. Стояло лишь несколько столиков, на стенах слабо горели красные фонарики, в углу из тьмы красновато проблескивали зеркала бара; и зальчик и бар этот в первый миг показались совершенно заброшенными, пустыми. Но потом завиднелись справа у зеркал три женские фигуры, сидевшие за крайним столиком возле какой-то боковой занавески, и оттуда послышалось протяжное:

— Хэлло-о!

И при фосфорическом мерцании экрана, отсвечивающего в мрачноватое пространство без стульев, видно было, как две девушки встали, неторопливо, покачивая бедрами, приблизились и затем, как это делают контролеры в кинотеатрах («айн момент»), провели их в полукруглую ложу, посадили к столику и затем, обдавая душноватым одеколонным запахом, сели между ними с той неспрашивающей уверенностью, которая означала, что так уж заведено в этом баре-кинотеатре.

Никитин не успел взглянуть на свою соседку, как тотчас же подошла третья девушка, по-видимому, официантка, посветила ручным фонариком. Он разглядел ее светлые волосы, продолговатое, неприступно-холодное лицо, лицо умной студентки; она сухо спросила, что господа намерены пить.

— Пить? — переспросил Никитин по-немецки и, немного озадаченный, взглядом подал знак Самсонову: «Бери командование на себя».

— Кока-кола,— заказал Самсонов для того, чтобы только заказать, и поэтому выбрал самый дешевый напиток.— Две.

«Кто же, собственно, эти девицы? Зачем они сели с нами? — подумал Никитин и здесь же вспомнил о предупредительных японских гейшах.— Вероятно, они служат здесь и своим вниманием обязаны занимать зрителей, совсем уж интересно, но, кажется, некстати».

Мгновенно принесли две ледяные бутылки кока-колы, две маленькие рюмочки с ромом, девушки зашевелились, заулыбались, разлили кока-колу, одна подала стакан Самсонову, другая — Никитину, и он наконец взглянул на нее: смуглая, скуластенькая, большие темные глаза ничего не выражали, тонкий свитер округливал ее сильную грудь, нога умело заброшена на ногу, узкая юбка стянулась, выказывая телесно белеющее колено.

Она отпила глоток из рюмки, качнула ногой, жестом попросила у Никитина сигарету, и он охотно угостил ее, зажег спичку. Огонек осветил чуть толстоватенький нос, густо начерненные ресницы, полные губы, колечком охватившие мундштук сигареты, ее круглые ноготки, отблескивающие багровым лаком. Она, медленно затягиваясь, опять качнула ногой, коснулась коленом Никитина и, улыбнувшись, легоньким кошачьим движением провела ладошкой по его волосам.

— Меня звать Гэда,— низким голосом сказала она, задержала палец на его щеке, ласково подергала, пощекотала мочку уха и добавила: — Кто ты — англичанин? Какой серьезный!

— Гэда? — повторил Никитин и убрал ее неприятно холодную, пахнущую горькой туалетной водой руку со своей щеки, давая понять, что не расположен к этому нестеснительному прикосновению, к этому изучающему его любопытству, и стал смотреть на экран, где в разных номерах отеля происходило одно и то же: она, обнаженная, сидя посреди постели, в задумчивости стягивала чулок, словно скручивала кожу на бледной ноге, открывалась дверь, входил он, сбрасывая пиджак, развязывая галстук, расстегивал рубашку, она, не успев снять второй чулок, опрокидывалась навзничь под его играющим мышцами стальным торсом. Из затмения возникал соседний номер, длинноволосая женщина, разъятоглазая, в одних сапогах выше колен, сладострастно ударяла себя хлыстом по плечам; потом заставленная мольбертами комната, похожая на мастерскую художника, голая натурщица у окна одной рукой кругообразно поглаживала живот, дрожа истонченными пальцами, другой, с порочной улыбкой, держала свечу около бедра; потом на утреннем песке пляжа мужчина заламывал назад руки по-звериному кричащей девушке, зубами вонзаясь ей в искусанную до крови

спину, и кто-то, гладколысый, уродливо сгорбленный, тоже голый, подглядывал из-за кустов и, суча волосатыми ногами, злорадно, гадливо смеялся...

Никитин смотрел сначала с невнятным интересом, затем с тоскливым, раздраженным сопротивлением, и тошнотный, вяжущий комок постепенно подступал к его горлу, будто на глазах били обмотанными ватой кулаками, истязали, мучили прекрасное человеческое тело, заставляли его корчиться, извиваться в больном сладострастии, уничтожающем презрительной ненавистью естественное сближение мужчины и женщины.

— Англичанин, пей...

Хмурясь, он оторвался от экрана, отвлеченный голосом, шорохом в ложе, и увидел при вспыхнувшем фонарике — зачем-то принесли на их столик вино, две густо-черные бутылки, четыре бокала, которые официантка молчаливо наполнила. Гэда пригубила бокал, искоса поглядывая на него, а официантка ушла за занавеску, скрывающую выход куда-то правее экрана. Занавеска эта подергивалась, колыхалась складками, и сжатый мужской шепот дополз оттуда в пустоту зальчика.

И тотчас глухое беспокойство возникшей нереальности смутным отражением малярийного бреда змеистым холодком стало вкрадываться в сознание Никитина. Уже происходило нечто несуразное, до глупости ненужное — фильм на экране, потные голые тела, темный закрытый бар в непонятно безлюдном подвале Реепербана, незаказанное вино на столе, шепот за занавеской, скуластенькая, никогда в жизни не виденная Гэда, прижимающая колено к его ноге. Что это? Нет, надо было сейчас же подняться, во что бы то ни стало сделать над собой усилие, выйти из нереальности этого подозрительного сырого подземелья, оторванного, казалось, от всего мира с его естественным светом, дневной серостью ноябрьского воздуха, живыми звуками, которые не проникали сюда, как сквозь железобетонную толщу. Было тихо, и в мертвенной немоте, после шевеления занавески, после сжатого мужского шепота за ней Никитин представил дикие, зловеще мрачные лабиринты этого не известного никому подвала, его мокрые нависающие своды, осклизлые стены, обросшие грязью, зловонные канализационные колодцы и стоки, где текла мутная городская жижа и где не могло быть ни единой человеческой души.

«Уходить, немедленно, как можно быстрей уйти отсюда!» — подумал Никитин и тут же услышал низкий голос Гэды, лихорадочно пытаясь понять немецкие фразы:

— Я вчера была у врача, у меня все в порядке. Я слежу за своим телом, англичанин...

Она, сонно улыбаясь, медлительно погладила свою грудь и бедра.

— Я хорошая артистка стриптиза, я здесь выступаю вечером. Ты посмотри, какая у меня грудь. Пощупай... И посмотри, какие бедра. Как у мальчика. Ты кто, англичанин?

— Нет.

— Поляк? Югослав?

— Нет.

— Может, русский?

— А разве русские здесь бывали?

— Бывал один. Симпатичный человек. Только шпион.

— Почему шпион?

— Русские все шпионы.

— Это фантастика, милая Гэда.

— Я вижу, ты медленно возбуждаешься, — сказала она и хрипловато рассмеялась.— Может, ты... этот? Может, ты другого хочешь? Не бойся, я умею все делать...

— Нет, милая, я ничего не хочу.

«Уходить, сейчас же уйти отсюда. Сказать об этом Самсонову!» — подумал Никитин, испытывая тревожную и душную тесноту во всем теле, и, уже совершенно не понимая, не видя смысла происходившего на экране — мелькали там те же голые фигуры мужчин и женщин, — он со смешанным чувством отвратительного страха, брезгливости и бессмысленности положения наконец повернулся к Самсонову и на первый взгляд не узнал его. Самсонов, придавленный в угол крупным телом другой девицы, мотал лиловым среди тьмы лицом, он бормотал что-то ненатуральным, сердитым голосом, он словно оправдывался, оборонялся изломанной усмешкой, и Никитин проговорил одним выдохом:

— Все, пошли отсюда!..

Самсонов с задышкой обратил на Никитина стекла очков, сипло сказал в пустынный зальчик бара:

— Счет!

Заколебалась, откинулась занавеска правее экрана, и не спеша подошла белокурая официантка, выражая и ртом и глазами целомудренную строгость умной студентки. Она положила два счета на столик, в ожидательной невозмутимости посветила ручным фонариком. Никитин не сумел просмотреть внимательно свой счет, потому что заметил, как мигом переменилось толстоватое лицо Самсонова, вскинутое к зажженному фонарику официантки, и голос его вскрикнул изумленно:

— Откуда такой счет? Вы ошиблись! Сто пятьдесят марок? Мы заказывали только кока-колу! Позвольте! Мы не пили вино!

— У тебя нет денег, англичанин? Не знаешь цен? — бесстрастным голосом проговорила официантка и наклонилась близко к нему.— Сколько ты можешь заплатить марок? Сколько у тебя всего денег?

— Сто марок, — запинаясь, солгал Самсонов.— Я могу заплатить только сто марок.

— Давай сто!..

Сапко дыша носом, опасливо соображая что-то, Самсонов извлек из внутреннего кармана портмоне, порылся в нем непослушными пальцами, но когда вытягивал две пятидесятимарковые купюры, официантка цепким захватом отогнула край портмоне, крикнула внезапно визгливо:

— Там еще есть деньги! Давай! И ты... плати! Тоже нет денег?

И зажатым в кулачке ручным фонариком властно и грубо ткнула в лоб Никитину, с искаженным злобой красивым лицом и вся готовая к действию, вплотную придвинулась, загородила экран. Никитин, никак не предполагая этой ее грубости, этого насилия, но понимая, что все теперь походило на угрозу и вымогательство, как-то обостренно уловил в углу подвала колыхание занавески — и двое мужчин боксерского сложения (один без пиджака, в белой рубашке, с распущенным узлом галстука, другой в темном свитере) поочередно вышли оттуда, демонстративно сели на высокие стульчики бара спинами к залу, покуривая в безразличном молчании.

— Фонарик надо использовать по назначению, уважаемая, — выговорил Никитин.— Так будет разумней.

Он не раз переживал тягостное состояние связанных рук, то состояние, какое потом повторялось во сне, когда душная, унижающая тебя сила выворачивает плечи, железным обручем давит горло, смеется при виде твоей покорной беспомощности. И это было то, что могло случиться здесь, сейчас, в безлюдно-зловещем подвальчике, здесь, в примитивной ловушке, отъединенной от наземного мира: драка, избиение, грабеж, возможное даже убийство, сырая клоака зловонных ходов, заброшенные колодцы городской канализации — ни одного свидетеля вокруг, никто никогда не сможет ни найти, ни узнать...

И, молниеносно осознав собственную беспомощность, Никитин сразу подумал, что нет и не будет благоразумного смысла выказывать сопротивления официантке, проявленное ошеломленным Самсоновым, и, еще стараясь быть спокойным, он небрежно пододвинул к себе свой счет — 143 марки, потом счет Самсонова — тоже 143 марки. Это была большая сумма, которая представлялась ему ничтожно мизерной, малозначащей, — да, да, немедленно, не сомневаясь ни секунды, заплатить 300 марок и купить этим выход на ноябрьский воздух, приятный дождичек, мокрый асфальт... Какой никчемной, маленькой была эта сумма, покупающая возможность встать, откинуть тяжелую портьеру перед лестницей, подняться по ступеням из свинцовой полутьмы подземелья, из влажного запаха одеколона, исходящего от Гэды, безучастно посасывающей вино, уйти от злобного лица белокурой официантки, которая, изогнувшись, стояла над ними в позе, изготовленной на все — ударить, вцепиться ногтями в глаза.

С ожиданием облегчения, думая лишь о первых шагах по лестнице, Никитин отсчитал в пакете триста марок, равнодушно протянул их официантке, сказал: «Счет вместе», — и она почти вырвала деньги у него; он коротко и тихо бросил Самсонову:

— Пошли отсюда, только быстрей!..

Официантка, собрав губы в жесткий комочек, выкладывала на стол сдачу мелочью. Двое мужчин все так же непроницаемо-безразлично сидели спинами к ним у стойки бара, покуривали молча.

«Скорее, скорее», — толкал себя Никитин и вдруг, с ударившей в голову кровью, почувствовал, как Гэда схватила его за локоть, впилась в рукав плаща, не давая ему встать, и тогда, сдерживаясь немыслимым напряжением воли, чтобы не оттолкнуть ее («Она сейчас завизжит, крикнет, что ее избивают, и тут начнется!..»), он мягко разжал вцепившиеся в его рукав ногти и встал, ощущая мерзостное отвращение к своей фальшивой улыбке («Нет, ничего особенного не случилось!»), к своему голосу и неестественно вежливой интонации удовлетворенного полученным удовольствием человека:

— Данке шён... Ауф видерзеен...

Качнув животом стол, неуклюже вскочил следом Самсонов и, сопя, нагнув по-бычьи голову, двинулся к выходу, — и в ту же минуту Никитин пошел за ним, и после того, как на пороге отбросил захватанную портьеру, пропитанную омерзительной пряной сыростью, и увидел счастливый дневной свет вверху крутой лестницы, он еще неубежденно верил, что там, сзади, не опомнятся, не бросятся вдогонку...

Задыхаясь, они поднялись по каменным ступеням к выходу, откуда бело пробивался через стеклянную дверь реденький мерклый свет осеннего дня, а когда открыли дверь, когда вышли на улицу, на свободу, на простор тротуара, на прочную твердость влажного асфальта, оба возбужденно вдохнули горький водянистый воздух Реепербана и оглянулись по сторонам.

— К чертовой матери отсюда! — выговорил Никитин.— Ко всем чертям!

Швейцар стоял сбоку двери и сделал вид, что всецело занят соскребыванием пятнышка с борта зеленой шинели, морщинистое, измятое его лицо было не угодливым, а лживо-сосредоточенным. И Никитин поймал себя на злом и тайном желании — запомнить название бара, и это место, и это лживое лицо, которое могло быть случайным и неслучайным знаком в его судьбе.

— «Интим-бар», — прочитал Никитин неоновую вывеску над дверью.— Отличное название для бардака сто первого разряда! Потрясающее по невинности заведение! Вот как бывает, Платон!

— Ах, идиоты! Идиоты! — вскрикивал Самсонов в невылитой ярости и ударял кулаком по своему потному лбу.— Триста марок! Ограбили! Изнасиловали! Среди бела дня! Как сусликов, как глупцов ограбили!

— Благодари бога, что все кончилось более или менее, Платон, — уже веселея, сказал Никитин.— Ну, что было делать? Заявить полиции, что ты возмущен неблагородством притона и будешь жаловаться канцлеру? Могло быть гораздо хуже. Учти, нас ограбили как англичан, но они еще не знали, кто мы. Ты слышал милый лепет этой прелестницы Гэды о русских? И обратил внимание на вышедших боксеров-мальчиков? Дредноуты в пограничных водах.

— Идиоты мы, идиоты! Вот кто мы! Триста марок!..

— Бог с ними, с марками, считай, что у нас их никогда не было! Точнее, любой гонорар в капстране — дурные деньги.

— Ан нет! Это уж нет, прости! Я тебе должен сто пятьдесят — и я их тебе верну. Расплата за идиотизм поровну!

— Никаких денег, видишь ли, Платон, я у тебя не возьму. О трехстах марках я уже забыл. Не было их.

— А я не живу в долг, ты тоже запомни!.. О, простаки, глупцы, надо же было попасть в такое положение, дураки, ослы, болваны! И каким же сволочам мы попались!

— Успокойся. Все прошло. Такого мы долго не увидим. Все равно любопытно, Платоша, ей-богу.

Никитин говорил и даже посмеивался, успокаивая Самсонова, багрового от негодования, от неудовлетворенной злости, а сам чувство-

вал, что стиснутое внутри унизительное бессилие не расслабляется в нем до полного облегчения. Студенческое лицо белокурой официантки, грубо ударившей фонариком его в лоб, ее базарные слова «И ты, плати!», и без единого посетителя мрачный подвал, и те двое мужчин с сигаретами в ленивом, угрожающем выжидании за стойкой бара, и Гэда, и незаказанное вино — все было примитивно разыгранным насилием, не имеющим никаких доказательств и улик против насилия. Ибо все случившееся выглядело обыденным, вполне естественным: и вино, и девицы за столиком, и мужчины за стойкой бара, готовые вступиться за оскорбленную и беззащитную девушку-официантку, которой не платят по счету... Виновных не было, вернее, они были: два зашедших в бар иностранца, желающих развлечься и позволивших себя ограбить, унизить, ударить...

●

Это был первый гонорар, три тысячи рублей, первые деньги после длительного безденежья, полученные в кассе солидного издательства,— три толстых плотных пачки, каждая перетянутая бумажной ленточкой, отмеченная печатью и какой-то росписью. Пачки эти приятно оттопыривали карман его старенького пиджака, и он, выйдя из подъезда издательства на солнценосный воздух июньского дня, переживал прилив счастья и от впервые непривычно увиденной и такой знакомой фамилии над рассказом в толстом журнале, и от долгожданного богатства, сладострастно давящего пачками на грудь.

В первом же табачном киоске он купил неправдоподобно дорогие папиросы «Герцеговина Флор» и в полусне наслаждения, забыв про долги, про неуютную, с нечистыми обоями комнату, снимаемую им возле Павелецкого вокзала, пошел по улице, летней, пестрой, горячей, в тени облитых полуденным зноем тополей. Он ликовал, он глядел на лица прохожих и радостно думал: нет, они не знают, что его имя сейчас вроде бы отделилось от него, что везде в газетных киосках продают новый журнал, в котором напечатан е г о рассказ, им написанный, им рожденный за шатким обеденным столом той неуютной комнатки с отставшими пожелтевшими обоями, и никто не знает, что он наконец может заставить этих прохожих, этих незнакомых людей на улице восхищаться, грустить, удивляться, и что он богат сейчас, и отдаст долги (комнатка, обеды хозяйки), и купит себе костюм, белье, ботинки, и еще останутся деньги для спокойной работы, чтобы снова удивлять людей и заставлять их преклоняться перед его благословенным талантом.

На углу он долго ходил вокруг газетного киоска, рассматривая сквозь нагретое солнцем стекло обложки книг и журналов, однако боковым зрением наблюдал за прохожими, покупающими свежие газеты, последний номер «Огонька», и взгляд его поминутно останавливался на названии толстого журнала, в котором был напечатан его рассказ. Он все время помнил запах типографской краски, исходивший от прекрасной гладкой бумаги, где стояла его фамилия, от печатных знаков и фраз, странно и черно заполнявших первую страницу, наизусть помнил начало рассказа, заранее представляя, что мог почувствовать человек, прочитав ее после заглавия «Однажды осенью», как казалось ему, дышавшего самим грустным запахом осени: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше, по навесу крыльца, ветер косо гнал по лужам темные кораблики опавших листьев...» Он так неудовлетворенно работал над начальной фразой, уже написав весь рассказ, так длительно отшлифовывал ее, удлинял, сокращал, переставлял снова, убирал эпитеты, что она снилась ему как сладострастное наказание, как му́ка,— но в этой муке было наслаждение, и оно не имело конца, оно не прекращалось.

Покуривая папиросу, будто бы в состоянии рассеянной задумчивости, он ждал у киоска того сладкого тщеславного момента, когда кто-нибудь купит журнал с его рассказом, и про себя повторял наизусть начальную фразу, что должна обязательно броситься в глаза на первой же странице: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше...» Какая все-таки это была отточенная, восхитительная фраза, заставляющая, конечно, читать дальше, не отрываясь, в особом грустном восторге перед осенними сумерками в маленьком городке на берегу реки с оголенным октябрьским садом.

Лицо старика продавца за стеклом киоска было до унылости будничным, он продавал газеты, отсчитывал мелочь двумя обмотанными несвежими бинтами пальцами, после чего доставал из-под полочки бумажный кулечек и равномерно жевал, оставляя на подбородке крошки лимонных вафелек.

«Что такое? Почему не покупают журнал? — думал Никитин, глядя на вяло жующего продавца, который, разумеется, должен был отлично знать о серьезности и популярности толстого журнала и вышедший номер предлагать каждому.— Сказать ему о журнале или не сказать?»

Он торчал около киоска минут двадцать, мешая здесь, его толкали, и старик продавец вдруг подозрительно уставился на него, привстав из-за кип газет, спросил скрипуче:

— А вам что, молодой человек?

И тогда с запылавшим лицом он взял журнал со своим рассказом, просмотрел оглавление, полистал, раскрыл то место, где черным шрифтом ударяла невероятной новизной его фамилия, пробежал первые строчки, сказал не без деланного удивления:

— А, вышел...

— Кто вышел? Новенькое? Автор-то кто? — И, по-мышиному похрустывая вафелькой, продавец взглянул на фамилию, на заглавие рассказа, точно в безрадостную пустыню посмотрел.

— Это мой рассказ,— с насильственным равнодушием человека, который перекупался в утомительном сиянии славы, сказал Никитин, испытывая томящее удовольствие от некоторой вопросительности в выцветших глазах продавца.

— Вы автор?.. Вы? Пишете? Так-та-ак!.. Никогда не видел таких молодых авторов... Вы, стало быть, писатель? Приятно видеть...

— Да, это мой рассказ,— повторил Никитин, нахмурясь, и полез за деньгами.— Дайте мне два журнала. То есть три журнала, пожалуйста. У меня нет ни одного экземпляра.

Он явно солгал — у него было два авторских экземпляра, а ему хотелось купить всю стопку вот этих приятно отливающих фиолетовыми обложками, еще не тронутых никем журналов, что были в киоске, купить с необъяснимой и алчной жадностью, будто могли они в одну секунду исчезнуть из киосков,— и тогда не будет печатных доказательств его авторства, так чудодейственно что-то решившего в его жизни.

— Прозаик Никитин? Ты, что ль? Опус свой скупаешь? Здорово, что ль!

Сильно окающий голос толкнулся в затылок Никитина, прозвучал бесцеремонно дерзким артистическим панибратством, и он поежился, ловя ладонью высыпаемую ему продавцом сдачу, обернулся, увидел молодого поэта Василия Вихрова, уже печатавшегося, уже многим известного в литературных кругах. Был он ржановолос, широкоплеч, шумен, похож на молодого Есенина не только молочно-здоровой деревенской внешностью, но и манерой читать стихи гулким баритоном нараскат: Никитин слышал его раз на студенческом вечере в университете.

— Прозаик... Талантище!..

Вихров, в потертом, помятом пиджаке, ворот поношенной рубашки распахнут, плохо причесанные волосы спадали на крепкий лоб, обрадованно, подобно веселому сельскому парню в порыве чувств, фамильярно облапил его сзади, говоря звучным распевом:

— Читал рассказ, читал, мы с тобой соседи в журнале, моя баллада тут напечатана, не прочел? Прочти! А я твой опус прочел,— хорошо, здорово! Как у тебя там? «Огоньки шевелились в темноте», что-то вроде так... Это, брат, прямо строка из стихов! Талантище ты, Никитин, прорвешь пелену и в Чеховы на белом коне выедешь! Мо-ло-дец, прозаик, мо-ло-дец!

— Ты в какую сторону? — спросил, краснея, Никитин и покосился на продавца, который пожевывал вафельки, прислушиваясь к барабанному баритону Вихрова.— Ты не в центр?

— В центр так в центр! Пошли! Гонорарий получил? Обмоем, что ль? Твой рассказ, первую ласточку, и мою балладу! Посидим где-нибудь. Поговорим за жизнь. Поедем в Парк культуры на чистый воздух! У тебя как — дети не плачут? Жена не ждет? Свекровь со скалкой не встречает?

— Нет, я один.

— Потопали на троллейбусную остановку, Чехов! Грех первый рассказ-то не отметить! Чтоб дорожку обмыть и выстелить чистенько, понимаешь ты. Белой скатеркой в славу! Прозаик, чертище, божья искра у тебя, понимаешь ты?

Никитин хорошо помнил, что сначала звенела в душе легкая праздничная радость («наконец-то случилось важное в его жизни, удивительное!»), и оттого, что напоминанием о случившемся лежали рядом на столике журналы с его рассказом, и от знойного солнечного июньского дня, чудесно сверкающего в густой листве Центрального парка, в разноцветных стеклах летнего кафе, куда они зашли в эту дневную пору, и от первой выпитой рюмки, приятно затуманившей нескончаемые его муки работы по ночам, и оттого, что открывалось новое и прекрасное в его жизни, он неизбывно чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу начавшегося лета,— на терраску веяло запахами дерева, пресной листвы, нагретым воздухом чистеньких и подметенных вокруг кафе аллей.

Он с непроходящим наслаждением слушал Вихрова, много говорившего о поэзии прозы, о деталях рассказа, о боге, который волшебно водит кончиком пера в магические мгновения работы, о том, что некоторым фронтовикам-единицам выпала судьба, посчастливилось остаться в живых, чтобы сказать то, чего другие не скажут. И, слушая Вихрова, влюбленно глядел в его здоровое лицо, в искристые голубые глаза, страстные и горячечные увлеченностью пойманной мысли, на ржаные волосы, падавшие на лоб, и думал, какой все-таки любопытный парень этот Вихров, как самозабвенно верит в искусство и работу, в кристально отточенное изящество слова, над чем ежедневно мучился сам. Он слушал и укорял себя за то, что не знал его так близко раньше, до этой встречи, а знал лишь, что он воевал, заканчивал университет, печатался и слишком подчеркнуто окал, играя под простоватого парня.

Вихров произносил тосты за грубую и мужественную прозу, за женственную поэзию, за всю литературу, за ненормальных человеческих особей, так называемых писателей, которые выдумывают вторую жизнь божественной волей воображения; потом Вихров начал читать последние, еще не опубликованные лирические стихи. А Никитин, чем больше пил, тем больше восторгался Вихровым, его талантом, умом, душевной тонкостью и после каждого прочитанного стихотворения говорил: «Великолепно, здорово, отлично!» — и порывался обнять его в избытке восхищения и, окончательно покоренный, раскрытый, обнаженно-добрый, дважды поцеловал его, едва не плача от любви.

Но, растроганный наплывом восторга и доброты, он с внутренним ликованием все время помнил: судьба поставила значительную и драгоценную веху на нелегком его пути. Да, начиналась новая полоса его жизни, долгожданная, счастливая; этот первый напечатанный в толстом журнале рассказ должны заметить, появятся статьи на полосах газет, мнения критиков, единодушно утверждающие свежий дар одними даже заголовками «Талантливый рассказ» или «Талантливая лирическая проза». И будет радостное признание, начало известности, имя его откроется лучезарной вспышкой и станет любимым. И сбудется, наконец, давняя и лелеянная его мечта, как бы пришедшая из сладкого сна: он едет в метро, в троллейбусе, случайно бросает взгляд на девушку, читающую книгу, и видит свое имя на обложке, свои строчки на страницах, знакомые фразы, его фразы... «Он хлопнул дверью и сбежал с крыльца под шумящий дождь в тополях»... «Я не встречу,— сказал он грубо.— Прощай!» «Нет, — сказала она и погладила его по плечу.— Я приеду, даже если ты не встретишь»...

Продолжение следует.

СОЛОВЕЙ И БУРЕВЕСТНИК

Юстас ПАЛЕЦКИС

«Дорогая Саломея! Ты обещала и всегда остаешься с нами... Поэтому говорим с тобой — как с живой... Ты сказала: «Соловей не петь не может». Святая правда. Кто пришел в мир с соловьиным голосом, тот не петь не может, а голос соловья — великая сила...»

Так писал о Саломее Нерис ее бывший ученик, известный поэт Эдуардас Межелайтис.

Сложным, полным исканий и внутренних противоречий был путь Саломеи Нерис. Чуткой душой поэта и разумом думающего человека, горячо любившего свой народ, она сумела отличить суровую правду пролетариата от буржуазной лжи и обмана.

Именно в эти переломные годы я познакомился с Саломеей Нерис, настоящая фамилия которой была Бачинскайте, а литературный псевдоним Нерис она избрала по имени реки, омывающей литовскую столицу Вильнюс. То было время, когда после фашистского переворота литовская буржуазия террором, расстрелами и репрессиями укрепляла свой реакционный режим, сбросив все маски либерализма и личины демократии. Эти события вызвали обострение классовой борьбы и размежевание среди интеллигенции. Все чаще стал я встречать Саломею в кругу прогрессивных писателей, наших общих друзей — П. Цвирки, А. Венцловы, К. Корсакаса, Й. Шимкуса, вскоре сплотившихся вокруг журнала «Трячяс фронтас» («Третий фронт»), пытавшегося проводить антифашистскую линию.

Во многих стихотворениях вышедшего в 1931 году сборника поэтессы «Следы на песке» («Сирому брату», «Литва изгнанника», «В венском баре», «Письмо в тюрьму», «Страшен твой бог» и др.) прозвучали отголоски социальных противоречий, разочарования в буржуазном строе. А в образе весны, ставшей традиционным в ее поэзии символом революции, Саломея предсказывает трудовому народу близкое освобождение:

Весна к тебе придет,
Плен ледяной сметая.
Ты — сердца пламя, мой народ,
Ты — кровь моя живая.

Весной 1931 года Саломея Нерис в последнем перед закрытием номере журнала «Трячяс фронтас» опубликовала заявление, вызвавшее целую бурю в буржуазных кругах. В нем поэтесса принципиально и четко ставит вопрос о назначении поэзии:

«Отныне я сознательно выступаю против эксплуататоров рабочего класса и постараюсь свой труд сочетать с действиями угнетаемых масс так, чтобы моя поэзия в будущем стала оружием их борьбы и выражала их чаяния и цели в этой борьбе».

С восторгом и волнением мы смотрели на эту хрупкую девушку, которую иногда называли мимозой — такой легкой, уязвимой и обидчивой она иногда бывала. Теперь же Саломея предстала буревестником, героиней, смело бросившей вызов старому миру.

Никакие козни клерикалов — ни открытые нападки реакционной критики, ни угрозы прежних друзей, ни попытки «образумить» Саломею Нерис, даже подкупить ее — не действовали. Наоборот, она сблизилась и установила связь с нелегальной Компартией Литвы, стала посылать свои стихотворения в коммунистический журнал «Приекалас» («Наковальня»), выходивший в Москве, сотрудничала в нелегальной печати, издаваемой в Литве.

Радостно воспринимает Саломея Нерис крушение буржуазного строя и восстановление Советской власти в 1940 году. Мы вместе принимали участие в исторической сессии Верховного Совета СССР в составе Полномочной комиссии Народного сейма Литвы. При обсуждении вопроса о вхождении Советской Литвы в состав СССР Саломея Нерис с кремлевской трибуны читает вдохновенную поэму. О мрачном прошлом ее народа в поэме говорится:

Нам все пути были заказаны,
И Родина была тюрьмой,
И руки крепко были связаны,
И вся страна была немой.

Но вот пришло освобождение:

Теперь для нас настали сроки,
И воплотился давний сон!

. . . .

Товарищи на воле снова,
Теперь им не грозит тюрьма,
Свободна мысль, свободно слово,
Рассеяна навеки тьма!

Став советским поэтом, Саломея Нерис смогла полностью отдать свои силы творчеству. За пять лет в советских условиях она выпустила шесть книг, в то время как при буржуазном строе за 15 лет она смогла издать пять сборников. Одна за другой появляются поэмы «Путь большевика», «Четыре» (о расстрелянных в 1926 году коммунистах), поэма-сказка «Эгле — королева ужей», детская поэма «Сиротка», множество стихотворений.

Саломея Нерис, верная данной присяге быть вместе с народом, во время Великой Отечественной войны проявила себя несгибаемым борцом и патриотом. Суровыми стихами разит она гитлеровских захватчиков, возбуждая ненависть к этим «кровожадным псам». Вместе с тем она воспевает жизнь, укрепляет веру в победу, в мирное и светлое будущее. Поэтесса ездила на фронт, выступала перед бойцами литовской дивизии. «Сквозь посвист пуль» и «Пой, сердце, жизнь» — так назывались сборники ее стихов, изданные во время войны.

Саломея Нерис пережила и воспела радость возвращения в освобожденную Литву и победы над фашистской Германией. Но неизлечимая болезнь подтачивала ее. Когда в июне 1945 года мы собирались на сессию Верховного Совета СССР, к которой был приурочен парад Победы, я получил ее письмо. Саломея сообщала, что из-за болезни она, избранная депутатом, не сможет поехать на сессию. Письмо заканчивается вещими словами: «Я всегда с вами!» Это были ее последние слова — 7 июля 1945 года любимой народной поэтессы не стало. Лебединой песней был ее последний сборник со знаменательным названием «Соловей не петь не может».

Саломея Нерис остается жить в своих произведениях, отличающихся художественным совершенством и глубокой партийностью. Братские советские народы вместе с ее родным народом отмечают 70-летие со дня рождения Саломеи Нерис, вспоминая добрым словом этого литовского соловья и буревестника — замечательную поэтессу, вдохновенного борца за осуществление великих идеалов советского народа, идеалов социализма.

Саломея НЕРИС

* * *

Бор в желтый берег врос,
Остров зноем распарен.
Тихий, как в море утес,
В лодке качается парень.

Пульс в колокол бьет у виска,
Токает сердце часто.
В пустотах волн и песка
Зачем ты растаяло, счастье?

Я с морем опять заодно,
Несет меня вдаль оно ласково.
И солнышко, сердцу на дно
Спустившись, сверкает сказкой.

Но если скроюсь в волнах,
Кто будет петь твое имя,
Коль скрипка утонет в песках
Меж соснами вековыми?

МОРСКОЙ ВАЛЬС

Кружится, кружится! Гонится,
гонится!
Алмазом сверкает
Морская волна.
Тучу догнав, белогривая конница
На берег вбегает, и тает она...

КАК ВЕТЕР

Лето было... Море смеялось.
Было солнышко — были друзья.
Теперь один ты... Идешь, но
усталость
Тебя останавливает у ручья.

Желтых елей тоскливые жалобы,
Жалких листьев осенний прах.
Слушаешь, ждешь — вновь
любовь просверкала бы
Белой чайкой в морских ветрах.

Смежи ресницы — я все
исправлю,
Русый вихор расцелую твой.
Возникну рядом без прав
и правил,
Как ветер свежий и молодой.

ОСЕННЯЯ НЕВЕСТА

Нет ей покоя, нету!
Осень рыдает в тьму
По златокудрому лету,
По жениху своему.

Горько невесты горе,
Стынет от стужи кровь.
Солоны слезы моря,
Жалобна скорбь ветров.

Выплачет молодая
Сердце в своей тоске.
Капли слез пропадают
Навеки в рыхлом песке.

Катится вал за валом
Волна, выгибая грудь.
Если ты жить устала —
Прыгай в лодку — и в путь...

Перевел с литовского
Игорь Строганов.

З. ХИРЕН

МИР ТЕСЕН

Рассказ этот, возможно, следовало бы начать с двух коротких корреспондентских записей. Первая была сделана мною в Тихом океане на борту флагманского крейсера азиатской эскадры военно-морского флота США «Аугуста». Вторая — в Западной Европе, на американском военном аэродроме, на который то и дело садились с неистовым ревом «летающие крепости». По белым плитам возле ангаров маршировали музыканты.

Но этим двум встречам предшествовала еще одна, и тоже с музыкантами, но не американскими, а нашими, владивостокскими — с духовым оркестром Тихоокеанского флота.

Был конец июля жаркого владивостокского лета 1937 года, когда на смену знакомым «Амурским волнам», многочисленным вальсам, маршам и модным в ту пору фокстротам и блюзам на пюпитрах духового оркестра Тихоокеанского флота появилась совершенно новенькая, только что доставленная из Москвы партитура. От зари до зари в городском саду не умолкали трубы, тромбоны, валторны, барабаны. Случайно проходивший мимо военный атташе США подполковник Файнмонвилл, услышав гимн своей родины, спустился к нашим музыкантам, чтобы благодарно пожать руку каждому из них. А на другое утро могучий орудийный раскат ворвался в сад, где шла репетиция, и капельмейстер, нервно отбросив дирижерскую палочку, скомандовал оркестру двинуться под звуки торжественного марша к бухте Золотой Рог. Там на высоком шпиле ворот Комсомольской пристани рядом с Государственным флагом СССР к тому моменту уже развевался флаг США, а на рейде бухты встали на якорь корабли азиатской эскадры военно-морского флота США — крейсер «Аугуста» и эскадренные миноносцы под номерами 211, 213, 217 и 230.

И тут нельзя не вспомнить наши дни. Лето 1973 года, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время своей исторической миссии мира сказал по американскому телевидению: «Значение хороших отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки всегда было ясно для наиболее дальновидных государственных деятелей. В этой связи мы имеем основание вспомнить, что в нынешнем году исполняется сорок лет с того дня, как по инициативе президента Франклина Рузвельта между нашими странами были установлены дипломатические отношения».

Через четыре года после установления дипломатических отношений Рузвельт прислал с дружественным визитом в Страну Советов военно-морскую эскадру.

Так вот, посланцев США в СССР встретили тогда мы, дальневосточники. Встретить эскадру в море вышел миноносец Тихоокеанского флота. На борту миноносца с нами находился американский военный атташе подполковник Файнмонвилл, которого в суровые дни декабря 1941 года я еще раз встречу, но уже в чине бригадного генерала, среди других его коллег, прилетевших «по командировке Рузвельта» в Москву. Не буду, однако, забегать вперед. Итак, могучий орудийный раскат нарушил утреннюю тишину Владивостока. С советского миноносца был дан салют в честь командующего эскадрой адмирала Гарри Ярнелла. И тотчас же с флагманского крейсера «Аугуста» раздался ответный салют.

Пребывание во Владивостоке американских моряков проходило под знаком дружбы двух великих народов. Все чаще пришвартовывались к Комсомольской пристани катера и шлюпки с американцами. Получили возможность и мы, журналисты, бывать на борту американского крейсера, беседовать с его матросами, офицерами. Мне нравилась их непринужденность, желание побольше рассказать о своей жизни. Это были в основном молодые, крепкие парни. На одной из палуб стояла довольно обширная горка, занятая кубками, завоеванными командой крейсера в спортивных баталиях. Американские моряки интересовались нашей жизнью, спрашивали о советских поэтах, писателях. Я и в книжных магазинах Владивостока неоднократно встречал матросов в белоснежных, накрахмаленных панамках и широких черных галстуках, спрашивавших у продавцов книги Маяковского, Есенина, Николая Островского, а то и покупавших просто русские буквари. Флагманский крейсер посетили наши командиры и их жены, представители городских организаций. На верхней палубе почти не прекращал игры флотский джаз, и во время коротких пауз оказавшиеся тут же советские оркестранты обменялись кое-какой партитурой, проконсультировались, словом, завязали, как нынче принято говорить, культурные связи. Американские моряки принимали нас со всем радушием. Офицеры, надев поверх блестящих мундиров с аксельбантами, шнурами с медными наконечниками коротенькие, отороченные кружевами передники, сновали между гостями, угощая напитками, мороженым, сигаретами. А под длинными стволами дальнобойных орудий кружились под громкую музыку танцующие.

По заданию редакции «Красной звезды» я должен был взять интервью у адмирала Ярнелла, для чего, согласно протоколу, полагалось заранее представить вопросы. Я был тогда молод и потратил целую ночь на их составление. Исписал несколько страниц. Адмиралу же Ярнеллу было тогда за шестьдесят, и за плечами — десятилетия военной службы, длительные плавания, ну и, конечно, многочисленные интервью... Я ждал, когда адмирал выйдет из каюты. Как только открылась дверь, я представился. В руке адмирал держал свернутый в трубочку листок с моими вопросами...

— Я восхищен вашим городом Владивостоком, сэр! — начал адмирал.— Я восхищен радушием его жителей. Я выражаю благодарность за теплый прием советским военным морякам и местным властям.— Тут он гордо поднял голову и кивнул в сторону гостей.— Перелет ваших летчиков из Москвы в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс и дружественный визит нашей военной эскадры в советские воды Тихого океана сблизят народы двух великих государств. Счастливого вам плавания, сэр! — закончил Гарри Ярнелл.

Я оторопел — свидание окончено! А ответы на вопросы? По неопытности я не догадался, что, в сущности, мне здорово повезло, что я единственный из всех корреспондентов смог взять интервью у крупнейшего, как потом оказалось, американского военачальника. Был я озабочен еще и тем, как понять слова адмирала: «Счастливого вам плавания, сэр!» Не я же отплывал из Владивостока! И лишь позже, беседуя с другими американцами, догадался, слыша вновь и вновь ту же фразу, что это выражение любезности, что американцы как бы надеются, что и я прибуду к ним в гости. И что же, адмирал не ошибся. Не прошло и восьми лет, как я оказался на военном аэродроме США. Но перед тем, как рассказать об этом, еще два слова о крейсере «Аугуста».

Вскоре после начала Великой Отечественной войны на его борту встретились Рузвельт и Черчилль. Да, да, именно на борту крейсера «Аугуста», в Атлантике, американский президент скажет свое решительное «нет» английскому премьеру, выразившему сомнения в целесообразности военного союза США и СССР. И уж никак не мог я вообразить, что вновь услышу об «Аугусте» в мае 1945 года в окрестностях Линца, незадолго до того, как прибыть на тот самый американский военный аэродром.

...Было жаркое майское утро. По обе стороны шоссе, ведущего в Линц, тянулись Тирольские Альпы. Густые леса — до облаков. На вершинах гор белеет снег.

Мы держали путь в штаб 3-й американской армии. Нынче в США бывшему командующему этой армии Паттону воздвигнуты памятники. На одном из них он изображен примерно таким, каким и увидели мы его тогда впервые на шоссе, о котором идет речь. Высокий, поджарый. Каска с ремешком, не достающим до подбородка. На шее — бинокль. На поясном ремне слева — пистолет, справа — ручная граната. Замшевые бриджи, блуза. На груди ряды орденских ленточек, на рукаве — знаки отличия и различия.

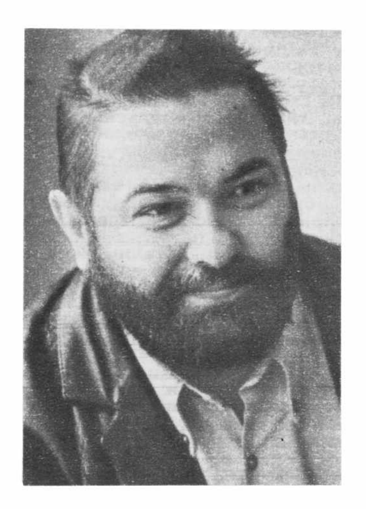
Теперь представьте себе, как был я изумлен, увидев слезы, брызнувшие из глаз этого вояки. А были, были слезы, когда он принял из рук прославленного маршала Федора Ивановича Толбухина орден Кутузова I степени. Едва сдерживая волнение, Паттон сказал, вернее, крикнул, в горле у него что-то заклокотало:

— Я много слышал о Советской Армии, но никогда не видел ее воинов. И уж, конечно, даже не грезил, что такой прославленный маршал наградит меня орденом Кутузова. Того самого Кутузова, который победил Наполеона. Теперь я всех вас увидел, да с такого близкого расстояния, что смотрю и вижу глаза каждого. И понимаю, почему вы победили. Наш путь сюда был короток, всего лишь из Шербура, а вы пришли в глубину Европы из Сталинграда, знаю по карте, как это далеко. Но дело не только в больших расстояниях, а в большом вашем героизме. Я восхищаюсь вами. И не я один, а все американцы.

А потом генерала можно было увидеть то среди солдат, то среди офицеров, он почти не умолкал, похлопывал стеком по своим крагам, по ладони, по «джипу», на котором вздрагивала радиоантенна. После военного парада он пил в баре на брудершафт с нашим командующим 4-й ударной армии генерал-лейтенантом Героем Советского Союза Никанором Дмитриевичем Захватаевым. Когда ему перевели, что обозначает по-русски «Захватаев», он заметил: «Вот это настоящая военная фамилия: «Наступай!». Генералы по обычаю бросили кубки на пол. Захватаев преподнес Паттону советский пистолет «ТТ» с дарственной монограммой на рукоятке. Американец от неожиданности и восторга заметался, не зная, чем бы ответить равноценным. Наконец, выхватив из ножен своего солдата тесак, начал отпарывать у себя нарукавные знаки, снял все четыре звезды полного генерала. Одну, как было нам известно, он получил по личному представлению президента Рузвельта. Но сейчас американскому командующему все нипочем! Он кричит на порученца, требует, чтоб и тот, черт подери, поворачивался быстрее. Наконец пришили к рукаву советского генерала все знаки. Не забыл сию же минуту отпечатать и соответствующий приказ! И вдруг Паттон по-особенному заворочал оранжевыми белками своих зеленоватых глаз и с величайшими предосторожностями передвинул со своего пальца на палец гостя кольцо. Кольцо с секретом, плетенное из тонких платиновых проволочек. Сильное впечатление произвели семейные фотографии, показанные мне американским генералом. Он, вояка, в лоне семьи! Жена, две взрослые дочери, толстощекий малец лет девяти. И еще показал военные снимки: генерал на борту «Аугусты». Да, да, того самого крейсера... Июль 1944 года на побережье Ла-Манша: высадка десанта союзников. И одной из первых с «Аугусты» высадилась 3-я армия Паттона.

...Бывают же такие совпадения. Ну, разве мир не тесен! Еще теснее, чем здесь описано. Без малого сорок лет назад на дальневосточной земле, в водах Золотого Рога, встречали мы посланцев Рузвельта. Это были годы, заложившие основы дружбы и деловых отношений двух великих народов. В наши дни эти отношения продолжают расти и развиваться. Скоро в районе города Владивостока, с которого начался наш рассказ, произойдет встреча, привлекающая внимание всего человечества. Об этой встрече говорят кратко: Брежнев — Форд.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Н. Д. Захватаев и командующий 3-й армией США генерал Джордж Паттон в Линце, во время встречи представителей советских и американских войск в мае 1945 года.



Юлиан СЕМЕНОВ

СТАРИК В МАДРИДЕ

...А после того, как у меня завершились все встречи, мы с Дунечкой поняли, что совершенно свободны и что хотя памплонская фиеста кончилась, Испания продолжается и будет продолжаться вечно в каждом, кто смог понять этот замечательный народ, а начинается Испания все-таки с Мадрида — для меня, во всяком случае.

— Нет,— сказала Дунечка,— для меня все кончилось в Памплоне.

— Тебе не нравится Мадрид?

— Он — официальный.

Я хотел сказать Дунечке, что нельзя вот так, с маху о б и ж а т ь — неважно, кого или что — человека или город. Рассеянная невнимательность, даже если это врожденная черта характера, все равно обидна для окружающих: не вешать же себе на шею табличку: «Заранее прошу прощения за мою невнимательность, рассеянность и категоричность — в принципе я добрый человек, не желающий никому зла».

Но я решил отложить эту сентенцию «на потом», а сейчас спросил:

— Ты что — уже обошла все его улицы? Видала его ранним утром у Сибелес, вечером на Гран Виа? Ночью возле средневековой Алкала? Днем у Карабанчели?

— Все равно, —сказала Дуня,— здесь очень длинные улицы и слишком много полиции.

— В Памплоне тоже была полиция.

— В Памплоне ее освистывали и прогоняли, когда она мешала фиесте.

Последний довод был справедливым, и я принял компромиссное решение.

— Знаешь что,— сказал я,— давай позвоним Кастильо Пуче и пройдем вместе с ним по тому Мадриду, который так любил Хемингуэй.

— А потом пойдем на корриду?

— А потом обязательно пойдем на корриду.

...В глазах у дочери по-прежнему были маленькие белые человечки в красных беретах, повязанные красными кушаками, с нитками чеснока на груди — она продолжала жить буйством Памплоны, и это на всю жизнь, и это прекрасно, и в будущем, думается мне, многие наши люди станут приезжать на фиесту, как, убежден, многие испанцы станут приезжать к нам на Родину,— ей-богу, у нас есть свои великолепные праздники, которые стоит посмотреть: это тоже будет на всю жизнь у тех испанцев, которые приедут...

— Значит, так,— прогрохотал в трубку Кастильо Пуче, шершавя мембрану жесткой бородой,— ты должен через полчаса приехать в кафе-мороженое «Оливетти». Как, ты не знаешь, где «Оливетти»? Но это же за стадионом «Реал Мадрид», и все мадриленьяс знают, где находится «Оливетти»!

Он полчаса объяснял мне, как туда надо проехать, а потом трубку взяла его дочь Таня и объяснила все за две минуты, и мы с Дуней поехали, и нас задержал полицейский, потому что мы нарушили правила, а поди не нарушь в сутолоке мадридских машин, их за год, что я здесь не был, прибавилось еще по крайней мере тысяч сто, и Дуня, побледнев, шепнула:

— Это «Гвардия севиль»? (Она уже знала, что такое «Гвардия севиль»,— испанцы не очень-то скрывают свое отношение к этой полицейской организации.)

— Нет,— ответил я,— это обычный дорожный надзор, не волнуйся.

Полицейский потребовал мои права с каменным лицом и алчным блеском в глазах, не предвещавшим ничего хорошего. Он повертел мои права, потом посмотрел марку машины и спросил:

— Откуда вы и что это за «оппель»?

— Это не «оппель», а «волга», мы из Советского Союза и пытаемся найти кафе-мороженое «Оливетти», которое в Мадриде знает каждый.

— Вы русские?!

— Да. Советские,— сказала Дуня, побледнев еще больше.

— Вы русские,— повторил полицейский, возвращая мне права,— которые ездят на «волге», не в силах найти «Оливетти»? — Алчный блеск в его глазах потух, и зажегся иной блеск — удивления, недоверия и интереса.— Это же просто: обогните клумбу, возвращайтесь назад, поверните направо возле пятого светофора, потом круто налево, потом два раза направо, потом снова налево, пересеките авениду: вот вам и «Оливетти».

Он поднял палку, остановил поток машин и позволил мне нарушить все правила, какие только существуют на свете.

— Ну и ну, — сказала Дуня, а я ничего не сказал, потому что напряженно считал светофоры.

Кастильо Пуче ждал нас со своей старшей дочерью Таней. Мы выпили кофе и отправились по Мадриду, по хемингуэевским местам.

Жара была градусов под сорок, Дуня страдала, я наслаждался, Кастильо Пуче и Танюша не обращали на жару внимания, ибо, как настоящие мадриленьяс, они обожают в своем городе все, даже жару.

«Небо над Мадридом высокое, безоблачное, подлинно испанское небо,— по сравнению с ним итальянское кажется приторным, — а воздух такой, что дышать им просто наслаждение»,— писал Старик, но жизнь, увы, внесла свои коррективы: над Мадридом сейчас висит смог из-за того, что понастроили множество заводов, а улицы запружены машинами, и только ночью, если полнолуние и на Плаца Майор горят синие, под старину лампы, можно увидеть звезды и черный провал небосвода и понять, что Старик — сорок лет назад — всегда мог видеть такое высокое, прекрасное небо, не только ночью, но и днем, когда он работал в том отеле, который в «Фиесте» назвал «Монтана» и где он поселил свою Брет с Педро Ромеро, а на самом деле никакого отеля «Монтана» не было, а был маленький пансион на углу улиц Алкала и Сан Херонимо. Здесь, в этом маленьком пансионе, где жили вышедшие из моды матадоры, священники и студенты, молодой Старик снимал маленькую комнату и писал в баре, что был на первом этаже, потому что в его каморке стояло лишь трюмо — стола не было, и в течение трех месяцев терпел обиды от постояльцев, которые издевались — но не очень злобно — над чудовищным испанским этого длинного «инглез», а потом, по прошествии трех месяцев, во время которых молодой Хем каждый день прочитывал все мадридские газеты, говорил с людьми на улицах, слушал речь матадоров, он стукнул кулаком по столу, когда шутить по его адресу стали особенно солоно, и пульнул той отборной бранью, которую употребляют «чулос», самые яростные матерщинники Мадрида, так что все посетители сначала смолкли, а потом расхохотались, и стали поить Хема вином, и признали его своим, и никогда больше не смели потешаться над «инглез», потому что только испанец может говорить так, как сказал этот молодой репортер, только испанец, а никакой там не «инглез»...

Сейчас в том доме, где была гостиница «Монтана», которую Старик отдал Брет Эшли и тореро Педро Ромеро (чертовски красиво звучат три эти слова, поставленные рядом!), находится отель «Мадрид». Друзьям — а твои герои не могут не быть твоими друзьями, даже противные, потому что они словно больные дети, уродцы, но твои ведь,— отдают то, что знают по-настоящему, где не наврешь и не запутаешься. А Старик очень хорошо знал те места, где он жил, и те страны, в которых он писал, а в Испании он писал свои лучшие вещи.

— Он говорил по-испански очень медленно,— заметил Кастильо Пуче, когда мы остановились напротив дома 32 на улице Сан Херонимо, где Хем жил в первые приезды,— и не совсем правильно, но и в этой неправильности «кастильяно» была своя особая прелесть, потому что он говорил на очень сочном языке народа, который обычно не в ладах с грамматикой, но зато всегда в ладах со здравым смыслом и юмором. Он не просто знал, он чувствовал наш испанский...

Действительно, во всех романах Старика,

Из новой книги.

Э. Калныньш. НА БЕРЕГАХ ПРИБАЛТИКИ.

Э. Калныньш. ЗАКАТ.

связанных с Испанией, торжествует поразительное знание этого замечательного народа, его городов, праздников, обычаев, литературы.

(Это, однако, не помешало неким «вещателям» от критики напечатать в газетах в день его похорон: «Дон Эрнесто никогда по-настоящему не понимал Испании. Он слышал колокола, которые звонят, но не понял, где они звонят и по ком». Или в другой газете: «По ком звонит колокол» построен на любви к красной Испании. Несколько образов националистов написаны неточно, и в то же время он позволял себе оправдывать и прославлять тех испанцев, на стороне которых он был... Если он и понимал нас, то лишь наполовину...»)

— Может быть, он понимал нас вполовину,— заметил Кастильо Пуче,— но, во всяком случае, он понимал нас лучше, чем мы его, и уж несравнимо лучше, чем мы — себя.

После войны Старик приехал в Испанию в 1953 году. Мне рассказывали, что Старик дал слово не посещать Мадрид до тех пор, пока из тюрем и концлагерей не освободят его товарищей-республиканцев, всех тех, кого он знал и любил и с кем вместе сражался. Последний его друг был выпущен в пятьдесят третьем году, весной, просидев в концлагере четырнадцать лет. Тем же летом Старик пересек границу и прибыл на фиесту и снова начал изучать Испанию, испанцев, корриду, матадоров, молодых писателей, музей Прадо и Эскуриал, Наварру, лов форели на Ирати, мужество Ордоньеса и достоинство Домингина.

В Мадриде он останавливался в отеле «Швеция» на Калье Маркес де Кубас. Он занимал на четвертом этаже три номера: для себя, где он работал, когда писал «Опасное лето», для Мэри и для Хотчера. Журналисты знали, что он останавливается в этом трехзвездочном отеле («Мог и в пятизвездочном, с его-то деньгами» — вопрос престижа для испанцев вопрос особый, а все отели разделены на пять категорий: с одной звезды до пяти звезд — «эстрэллас», и все знаменитости обязательно живут в роскошных пяти «эстрэллас», а Папа позволяет себе и в этом оригинальничать. Старик не любил говорить о своих денежных делах, но однажды объяснил Кастильо Пуче, что из 150 тысяч долларов, которые ему уплатили за право экранизации «По ком звонит колокол», он получил третью часть — все остальное взяло себе управление по налогам). Журналисты, американские туристы и молодые испанцы подолгу ждали Старика в фойе, а он выходил через тайную дверь на Калье де лос Мадрасос и шел прямехонько в Прадо: когда ему не работалось, он ходил туда два раза на день, а когда пятьсот слов ложились на машинку и он облегченно вздыхал, выполнив свою дневную норму, а выполнять ее становилось все труднее и труднее, он ходил в Прадо только один раз — вместо зарядки, рано утром. Вообще-то мне бы следовало написать «вместо зарядки», а «для зарядки», потому что больше всех художников мира он ценил испанских, а из всех испанских — Гойю, ибо Гойя, по его словам, брался писать то, что никто до него не решался,— не костюм, сюжет или портрет — он брался писать человеческие состояния.

Разность возрастов не есть состояние, это всего лишь приближение к состоянию, а в наше время эта возрастная разность все больше и больше стирается. Я наблюдал за тем, как Дунечка стояла возле полотен Гойи, Веласкеса, Тициана и Рафаэля. Сдержанность нового поколения — предмет мало изученный социологами, и мне сдается, что молодые копают главный смысл и держат себя в себе, и это далеко не нигилизм, это нечто новое, ибо мир за последние десять лет решительным образом изменился, его распирает от «заряда информации», мир приблизился к крайним рубежам знаний, он, мир наш, похож сейчас на бегуна, вышедшего на финишную прямую. Когда я впервые смотрел Гойю, Эль Греко и Веласкеса, я испытывал особое состояние, я волновался, как волнуются, когда договариваются по телефону о встрече с очень мудрым человеком, про которого много слыхал, но ни разу не видел. А Дуня стояла, сосредоточенно рассматривая работы великих так, как она рассматривает работы своих коллег по училищу живописи. И только когда Хуан Гарригес привел нас в зал Эль Боско (которого у нас знают как Иеронима Босха), я увидел в глазах дочери изумление и открытый, нескрываемый восторг. Эль Боско написал триптих: мир — от его создания до Апокалипсиса. Если прошлое в шестнадцатом веке можно было писать гениально, то писать будущее, угадывая подводные лодки, атомные взрывы, межконтинентальные катаклизмы,— это удел провидца от искусства, это дар — в определенном роде — апостольский. Информация, заложенная в поразительной живописи Эль Боско, настолько современна в своей манере, настолько молода, что можно только диву даваться, откуда такое пришло к этому великому гению.

— А как тебе Гойя? — спросил я Дуню.

— Гойя — это Гойя,— ответила она, не отрывая глаз от Эль Боско.— Им же все так восторгаются, и так много о нем написано, и такая у него «Маха обнаженная» — просто чудо, как написано лицо, и кожу он писал поразительно...

— А Эль Боско?

— Не знаю. Для меня это больше, чем Гойя.

— Почему?

— Потому что раньше я не знала, что такое возможно.

(Не в этом ли ответ на то, отчего подавляющее большинство молодежи стремится поступить в институты, связанные с тем, «что раньше было невозможно»,— электроника, атом, революционная — в новом своем состоянии — математика? Я убежден, что метод преподавания гуманитарных дисциплин сейчас сугубо устарел, ибо преподаватели не стремятся найти в поразительных по своему интересу предметах истории, экономики, географии то, что «раньше было невозможно».)

— А теперь,— сказал Кастильо Пуче,— пойдем на площадь Санта-Анна, в пивную «Алемана»,— там Папа работал в те дни, когда в Мадриде бывали корриды.

И мы пошли на уютную, тихую Санту-Анну и сели за столик пивной «Алемана».

— Здесь определен распорядок дня раз и навсегда,— продолжал Кастильо Пуче,— в десять часов пьют пиво журналисты, которые пишут о корриде,— их Папа не очень-то слушал, они слишком традиционные и не ищут невозможного. В час дня сюда приходят «ганадерос», а к ним Папа прислушивался, потому что они знали истинный толк в быках.

...Он сидел у окна, много пил и очень быстро писал свои отчеты о корридах, которые потом стали «Опасным летом». Вечером, часов в девять, когда сюда приходят после корриды все, и матадоры в том числе, он не любил здесь бывать, потому что шум становился другим, в нем появлялось иное качество, в нем было много лишнего, того, чего не было в дневном шуме, который, наоборот, помогал Старику работать, ибо то был шум не показной, наигранный, вечерний, когда много туристов, а шум, сопутствующий делу: такое бывает на съемочной площадке перед началом работы, и это не мешает актеру заново перепроверять образ, который ему предстоит играть, но зато ему очень мешает стайка любопытных, которых водят по студии громкоголосые гиды.

— Пойдем в «Кальехон»,— сказал Кастильо Пуче,— там Старик любил обедать.

И мы пошли в «Кальехон», и это было похоже чем-то на памплонскую «Каса Марсельяно» — такое же маленькое, укромное, свое место, где нет высоких потолков, вощеных паркетов и громадных колонн. Когда вы входите в укромный, тихий «Кальехон», на вас с осторожным прищуром сразу же глянет Хемингуэй; его портрет укреплен на стене, прямо напротив двери. Все стены здесь, как и во многих других ресторанчиках Испании, увешаны портретами матадоров с дарственными надписями. Когда мы поднимались на второй этаж, я обратил внимание на свежую огромную фотографию: это был Ниньо де ля Капеа, самый молодой и — отныне — самый известный матадор Испании.

— Возьмем себе то, что обычно брал Папа,— сказал Кастильо Пуче.

Нам принесли «гаспачо андалус» — холодный томатный суп в глиняных блюдцах. Сюда, в эту холодную, такую вкусную во время жары похлебку, надо положить мелко нарезанные огурцы и поджаренный хлеб и перемешать все это, и получится некое подобие нашей окрошки или болгарского «таратора», несмотря на то, что наша окрошка рождена квасом, а «таратор» кефиром. Потом Старик заказывал «гуадис колорадос» — крестьянскую еду, мясо с бобами, в остром, чуть не грузинском соусе, а после «аррос кон лече» — рис с корицей и молоком.

Доктор Мединаветиа, старый друг Старика, который наблюдал его в Испании, запретил ему острую пищу и сказал, что можно выпивать только один стакан виски с лимонным соком и не более двух стаканов вина, и Старик очень огорчился и долго молчал, когда пришел сюда, и выпил пять виски, а потом взял вино «вальдепеньяс», из Ла Манчи, и заказал много еды, так много, что вокруг него столпились официанты: испанцы едят мало, и было им жутковато смотреть, как Папа работает ложкой, ножом и вилкой — «неистовый инглез, этот Папа»...

— Отсюда он пошел к Дону Пио,— продолжал Кастильо Пуче,— к великому писателю Барохе, который умирал, и кровать его была окружена родственниками, приживалками, журналистами, фотографами: Папа купил бутылку виски, а Мэри передала свитер — «это настоящий мохер», добавила она, и это был бы очень хороший подарок, потому что Пио Бароха боялся холода, но подарок Мэри не пригодился, потому что через два дня Бароха умер. Старик надписал ему свою книгу, и поставил на столик возле кровати бутылку виски, и сказал Барохе, как он нужен ему, как много он получил от Дона Пио, от его великих и скорбных книг, а Бароха рассеянно слушал его, осторожно глотая ртом воздух...

После, когда Старик вышел от Барохи, он задумчиво сказал:

— Я никому не доставлю такой радости: умирать, как на сцене, когда вокруг тебя полно статистов и все на тебя смотрят, дожидаясь последнего акта...

Именно в тот день, когда он был у Барохи, Старик зашел в те два бара на Гран Виа, куда обычно он не любил заходить: в «Эль Абра» и «Чикоте». Он не любил заходить туда потому, что именно в этих барах он проводил многие часы с Кольцовым, Сыроежкиным, Мансуровым, Карменом, Эренбургом, Малиновским, Серовым, когда он писал «Пятую колонну» и «Испанскую землю», когда вынашивался «По ком звонит колокол», когда он был молод, и не посещал доктора Мединаветиа, и безбоязненно приникал губами к фляжке с русской водкой, не думая о том, как завтра будет болеть голова, и будет тяжесть в затылке, и будет ощущение страха перед листом чистой бумаги, а нет ничего ужаснее для писателя, чем такой страх.

...Когда мы назавтра возвращались с Дуней из Толедо, погода внезапно сломалась, небо затянуло низкими, лохматыми тучами, а потом поднялся ветер, а после посыпало белым, крупным, русским градом, и это было диковинно в июньской Испании, и я вцепился в руль, оттого что шоссе стало скользким, и ехать было опасно, а Дунечка безучастно смотрела в окно, но это только казалось, что она безучастно смотрит, потому что она вдруг сказала:

— Остановись, пожалуйста.

Я остановился, и Дунечка достала из багажника этюдник, и сделала углем набросок, и в номере отеля достала краски, и запахло работой — скипидаром и холстом, и она долго работала, а потом я увидел картину — огромное, сильное, синее дерево, согнувшееся от урагана, и черное небо, в котором угадывалось солнце, и бесконечная красно-желтая земля Испании.

Символ только тогда делается символом, если в нем сокрыта правда, понятная тебе. Для меня эта картина сразу же обрела название: «Старик в Испании, 1960».

В шестьдесят первом году он прислал телеграмму в Памплону с просьбой забронировать его обычные места на корриду. За день перед вылетом он застрелился. Его отпевали в то утро, когда начался Сан Фермин, фиеста, вечный его праздник.

Он не решился прилететь в Испанию сломленным, он решил уйти, чтобы сохранить себя навечно. Здесь, за Пиренеями, надо обязательно быть сильным, бесстрашным и уверенным в том, что скоро взойдет солнце...

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

Два дня прошли в оформлении бумаг. На третий в управление, к Всехсвятскому явился Яковлев, вызванный накануне.

— Ну, Яковлев,— сказал Всехсвятский,— так что мы будем делать, Яковлев?

Яковлев покачал головой:

— И как я себя до этого допустил, понять не могу, товарищ следователь.

— Я не про то, Яковлев,— сказал Всехсвятский.— Я про другое. Что ж вы следствие в заблуждение вводите, вот вы мне что объясните, пожалуйста. Почему обманываете?

Яковлев растерялся:

— То есть как это обманываю? Почему обманываю?

— Вот и я хотел бы знать, почему.

Яковлев помолчал, потом сказал:

— Не понимаю, товарищ следователь, что вы имеете в виду.

— А то я имею в виду,— сказал Всехсвятский.— То я имею в виду, Яковлев, что в середине ноября вы ездили в командировку в город Переславль-Залесский. Предъявить вам выписку из приказа или сами вспомните?

— Зачем же,— сказал Яковлев недоумевающе.— Я и сам помню. Ездил. Хороший городок, между прочим. Для пенсионеров. И туристов в это время не так уж много.

— Сколько ж вы пробыли там, не помните?

— Почему не помню? Два дня пробыл. Мне там особо задерживаться ни к чему было. Сделал дело — и обратно.

— Через Москву?

— Через Москву. И в Москве особо не задерживался. Ночным — сразу в Ленинград.

— Правильно, все верно. Что ж вы, однако, не рассказали об этом в прошлый раз?

— А что тут рассказывать?

— Ну, все-таки... Вы, наверное, помните, в какие числа были в Переславле?

Яковлев вытащил из кармана платок, промокнул им лоб, потом тщательно вытер руки. Запахло одеколоном.

— Жарко у нас,— сочувственно сказал Всехсвятский.— Зимы еще нет настоящей, а топят, будьте здоровы, как в мороз.

— Жарко, жарко,— одышливо бормотал Яковлев.— Может, форточку бы открыть, товарищ следователь, дышать совсем нечем. У меня давление, знаете...

Он оттянул рукав и показал браслет из металлических пластинок — от давления. Всехсвятский кивнул понимающе, встал, снял с карниза длинную палку с крючком на конце и с ее помощью открыл обе форточки. Яковлев расстегнул ворот и крепко вытер платком всю голову; под искусным зачесом проступила неправильной формы плешь.

— Легче стало? — поинтересовался Всехсвятский.— Все-таки движение воздуха. Может, врача позвать?

— Извините за беспокойство,— сказал Яковлев.— Нет, зачем врача. Я уже... оклемался.

Он спрятал платок, положил ногу на ногу и склонил голову набок, готовый слушать.

— Тогда продолжим,— сказал Всехсвятский.— Вы помните, в какие числа вы были в Переславле?

— Вроде, пятнадцатого-шестнадцатого?

— Правильно,— согласился Всехсвятский.— Я даже могу уточнить: вы были там с вечера пятнадцатого и до обеда семнадцатого ноября. Пятнадцатого ноября утром вы были в Москве, а восемнадцатого утром уже в Ленинграде. Правильно?

— Да уж наверное правильно, раз вы говорите. Вы, небось, все проверили, а я ведь так, по памяти. Мог и ошибиться.

— Ну, конечно, с кем не бывает! — согласился Всехсвятский.— Но все-таки следовало это нам сказать. Потому что у нас сразу недоразумение может возникнуть: что же это такое, один из звонков ваших к Соколовским как раз был, как тут по бумагам значится, шестнадцатого ноября. Неужели же вы по междугороднему телефону звонили?

Яковлев опять заволновался.

— Да не могло этого быть, товарищ следователь! — забормотал он.— Стану я с междугородной по такому делу звонить! Это Соколовская что-то перепутала, наверное. Никак этого быть не могло, ну просто никак.

Всехсвятский смотрел на него с сомнением.

— Думаете, значит, ошибка?

— Наверняка ошибка! — обрадовался Яковлев.— Посудите сами: зачем я с междугородной буду по такому делу звонить?

— Ну, а может, кто-нибудь другой за вас позвонил?

— За меня? Кто ж за меня звонить будет? Я никому... а впрочем... Бог его знает, может, и мог я позвонить из Москвы по автомату. С вокзала, если...

— Возможно, возможно,— сказал Всехсвятский.— Слушайте, Яковлев, сколько лет вашему сыну?

— Мой сын тут при чем? — жалобно сказал Яковлев.— Товарищ следователь, я ведь не отказываюсь, не отрицаю. Я виноват, я звонил, я и отвечу по всей строгости. Что уж тут!

— Так сколько, значит, лет вашему сыну?

Всехсвятский ждал ответа, положив руки на клавиши машинки.

Яковлев поежился и сказал:

— Пятнадцать ему, пятнадцать, еще мальчишка совсем. Школьник он, товарищ следователь, в восьмом классе учится.

— Хорошо учится?

— Эту четверть не так хорошо закончил — тройки были. А раньше без троек учился, товарищ следователь. И в самодеятельности участвовал. Артистом хочет быть, понимаете ли. Говорят, способный парнишка. Я ничего, я не запрещаю. Ну, сейчас у него, что называется, переходный возраст, трудный, и, конечно, он несколько лет был без отца... Мы с женой ему сознаем, товарищ следователь. Надо сознавать парнишке, все-таки это трудное дело — пятнадцать лет, я и про себя...

Он внезапно замолчал и вытер пот. Всехсвятский смотрел на него по-прежнему сочувственно:

— Зачем же, Яковлев, вы сказали, что это вы звонили Соколовским? Ведь не вы это звонили, а сын ваш... развлекался.

— Сын... Да нет, товарищ следователь, почему же... Это я звонил. Зачем бы сын...

— Эх, Яковлев, Яковлев!

— Ничего вы, товарищ следователь, не докажете. Только вот тот звонок, шестнадцатого — так, может, я и позвонил, просто забыл потом...

— Эх, Яковлев!

— Да и зачем я стал бы его выгораживать, посудите сами! Мне вы срок дать можете — я уголовный кодекс смотрел, до двух лет можете дать, по статье... забыл сейчас, какая статья...

— Эх, Яковлев!

— И вообще, товарищ следователь...

Они оба замолчали. Потом Всехсвятский спросил:

— А почему он это сделал? Вы, что ли, ему поручили?

Яковлев дернулся, потом обмяк:

— Пусть будет я.

— А может, это его инициатива?

— Знаете что, товарищ следователь,— сказал Яковлев.— Вы что-то себе выдумали, не пойму зачем. Вы так и знайте: звонил я. И на суде так буду говорить. И готов ответить по всей строгости. А насчет шестнадцатого числа — не знаю. И я мог позвонить спьяну — в командировке чего не бывает! — и Соколовская могла ошибиться по календарю. Так что вы напрасно это... насчет кого-нибудь другого.

— Не будет вам суда,— задумчиво сказал Всехсвятский.— Потому что не вы звонили, а мальчишка ваш звонил, и вы об этом не знали ничего, пока к вам не позвонили с телефонной станции. И вот вы решили парня своего спасать, или жена вас попросила... Что, у него с детской комнатой милиции все в порядке?

— Никогда за ним ничего такого не было, товарищ следователь. Мы и не знаем, где это детская комната милиции.

— Проверим.

— Проверяйте. Ничего у него такого не было. Я и не знал, что он такое затеял. Я вам расскажу, товарищ следователь, как получилось. Конечно, моя тут вина. Кому охота перед своим сыном вором выглядеть? Я и сказал ему, что безвинно пострадал, что всему виной бухгалтер, оклеветал меня. А он вот что надумал... Книжек начитался, что ли, отомстить решил. Только вы не подумайте! — Яковлев опять заторопился, забормотал.— Не подумайте, что он и в самом деле... Болтовня все, трепался, больше ничего. Ну, а когда выяснилось... Тут мы, конечно... Жена плачет... Ладно, говорю, из-за меня получилось, я и отвечу. Пойду, говорю, все объясню, извинения принесу. Сейчас к молодежи так строго — что ж он из-за меня страдать должен? Вот так, товарищ следователь. Я вам все рассказал, получили вы мое чистосердечное признание, но только я вам так скажу: если до суда дойдет, то я скажу, что моих рук это дело. Может, я и нарушитель и маленький человек, но тут мне вера будет.

Всехсвятский встал, прошелся по комнате.

— А где он был в ту субботу, не знаете?

— В школе он был, в школе, я уж ходил, проверял.

Всехсвятский сел за стол, перелистал протокол и сказал:

— Подпишите протокол и можете идти.

Яковлев подошел как-то бочком, загребая ногой, избычившись, а какой был в первый раз молодцеватый! Подписывая протокол, он спросил:

— Вы его будете вызывать? Не стоит, товарищ следователь, я с ним уже поговорил. И мать поговорила. Он сознает.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40—46.

— Все-таки придется вызвать, вероятно,— сказал Всехсвятский.— Да, кстати, он у вас марки не собирает?

Яковлев нахмурился и потер переносицу — не понимал, где тут подвох.

— Не знаю,— ответил он неуверенно.— Вроде нет.

— А вы сами никогда не собирали?

Яковлев прищурился и сказал:

— Чтоб серьезно собирать — деньги нужны большие.

И, остро взглянув на Всехсвятского, спросил:

— А вы этим увлекаетесь?

— Увлекался когда-то,— сказал Всехсвятский.— В мальчишеские годы.

Когда Яковлев ушел, Всехсвятский узнал по телефону адрес школы, где учился Яковлев-младший. Затем позвонил на работу Жукову и сказал ему, что не имеет возражений против его туристской поездки.

Жуков сказал:

— Большое вам спасибо, товарищ Всехсвятский.

— Ну, что вы! — сказал Всехсвятский.— Я ведь сказал, что постараюсь все уладить. Когда отъезд?

— Да послезавтра. В Москву, то есть, к послезавтра. И вроде отъезд в тот же день. Надо же, так все совпало.

Помедлив немного, Жуков спросил:

— А как? Могу ли я спросить, как вы нашли?

— Пока еще ничего не могу вам сказать,— сказал Всехсвятский.— Но похоже, к вашему возвращению все выяснится. Ну, желаю вам!

Всехсвятский повесил трубку, и пошел в машбюро.

— Медея Перикловна,— сказал он грустно,— вы забыли подписать меня на «Вокруг света». Мне теперь хоть съезжай с квартиры! Сын соседа просил.

Медея Перикловна всполошилась.

— Как же так? Я по вашему списку... Сейчас проверю.

— Посмотрите ваши талмуды, Медея Перикловна,— сказал Всехсвятский еще печальнее.— И заодно подумайте: не сдает ли кто комнату одинокому старику? Мне то есть.

Анечка хихикнула.

— Смеетесь, Анечка! — укоризненно сказал он.

— Вот! — торжествующе заявила Медея Перикловна.— Вот ваш списочек. Тут нет «Вокруг света»!

— Тем хуже! — вздохнул Всехсвятский.— Значит, я один кругом виноват, даже свалить вину не на кого. Так вы подумаете насчет комнаты?

— Я подумаю, как поправить дело,— с достоинством сказала Медея Перикловна.— Поговорю на почте, может быть, они войдут в положение.

— Вот, Анечка,— сказал Всехсвятский.— Посмотрите на эту женщину. Она спасает человека, и делает это как бы между прочим.

— Но я же еще ничего не сделала! — возразила Медея Перикловна.

— Сделаете! — сказал Всехсвятский уверенно.— Не в первый раз!

Он вышел, но успел услышать, как Анечка сказала: «Прямо цирк!»

Было около двух. Он решил, что пообедает потом, а сейчас поедет в школу. Все шло как по маслу: он попал в школу перед последней переменой. В учительской болтали две учительницы, у которых, по-видимому, было «окно». Он осведомился, в каком из восьмых Гена Яковлев. Одна из учительниц спросила:

— А вы, собственно, по какому делу, товарищ?

— Я из дома народного творчества,— сказал Всехсвятский.

— А! — сказала учительница уважительно.— Так он сейчас на уроке, Гена, там, по-моему, математика. Вы подождете, товарищ, или вам его вызвать?

— Я подожду,— сказал Всехсвятский.

Он пошел к двери. Учительница сказала ему вслед, что кабинет математики этажом выше, комната 89.

Зазвенел звонок, захлопали двери, раздался топот бегущих ног; из кабинета математики вылетел и стремглав понесся коротенький круглоголовый мальчишка, за ним посыпались остальные. Всехсвятский перехватил одного:

— Гену Яковлева, будь так добр!

— Так вот же он! — парень обернулся назад.— Генка, тебя!

В дверях появился рослый одутловатый мальчик, с глубоко всаженной в плечи головой. На лице его не было оживления, в движениях не было свободы; он не шел, а пробирался, словно опасаясь, что его затолкают в дверях. Он захватил Всехсвятского рассеянным бледным взглядом, озираясь, ища, кому это он понадобился. Всехсвятский подошел к нему и спросил:

— Какой у вас следующий урок?

— Физкультура,— ответил он не глядя и хотел пойти дальше, но Всехсвятский удержал его.

— А ты от физкультуры освобожден, кажется?

— Освобожден,— буркнул тот. Он повернул голову, посмотрел на Всехсвятского сверху вниз, но исподлобья.

— Ну, тогда пойдем, поговорим,— сказал Всехсвятский.— Я, собственно, к тебе пришел.

И тут на лицо мальчика выполз страх и завладел им бесконтрольно. У него задергался рот, забегали глаза. Всехсвятский взял его за руку повыше локтя.

— Спокойно,— сказал он.— Мы пойдем сейчас с тобой в скверик, там погуляем.

Молча они оделись в раздевалке, молча вышли из школы. Гена не смотрел на своего спутника, не оглядывался по сторонам; он брел рядом, помахивая головой в такт каким-то своим мыслям и на лице его был уже не страх, а тупая покорность. Наконец Всехсвятский сказал:

— Ну, говори.

— А что мне говорить,— отозвался тот.— Вы мне даже не сказали, кто вы, что вам нужно.

Он, видимо, успел взять себя в руки, а может быть, ему пришло в голову, что он зря испугался, что это совсем не то, чего он с таким страхом ждал все эти дни. Этот угрюмый подросток прочитывался легко, как знакомая книжка. Всехсвятский не дал ему отсрочки. Он сказал:

— Я следователь Управления внутренних дел. Моя фамилия Всехсвятский. Я тебя слушаю, Геннадий.

Снег скрипел у них под подошвами, младшие школьники обгоняли их и оглядывались с недолгим любопытством. Они шли рядом, как бы вместе, словно связь между ними была простая, обычная человеческая связь двух равных, без разделяющего стола, без неподвижности кабинетных вещей. Глаза их не встречались; Всехсвятский смотрел прямо перед собой и слышал справа от себя неровное дыхание своего спутника. Наконец Геннадий сказал:

— Вы... Вы мне даже домой не позволите зайти?

— Почему? Поговорим — и пойдешь домой. Я ведь не арестовывать тебя пришел. Ну, например, скажи мне, где ты был в субботу двадцать третьего ноября? С утра в школе. А потом?

Геннадий сказал:

— Я не был в школе. Я прогулял.

— Так,— сказал Всехсвятский.— Родители знали, что ты прогуливаешь?

— Я их в известность не ставил. Ну, а когда я пришел — знали.

Он ссутулился еще больше и пробормотал невнятно:

— Тогда уж все сразу вылезло. И телефон, и все.

— Так где же ты все-таки был?

— Прогулял! — сказал Геннадий упрямо.

— Один прогуливал?

— Один.

— И когда же ты пришел домой?

— Не помню точно. Часов в восемь, наверное. Или в полдевятого. Примерно так.

— Что же ты делал весь день?

— А что я буду говорить? — сказал Геннадий с тяжелым отчаянием.— Вы все равно не поверите.

— А все-таки?

— Они не поверили, и вы не поверите. В кино ходил. Потом просто ходил по улицам. Домой не хотелось.

— Что смотрел в кино?

— «Мертвый сезон».

— «Мертвый сезон»? На Мартыновской?

— На Мартыновской. Больше нигде не шло. Я раньше только по телевизору видел. Хотелось посмотреть на большом экране.

— На каком сеансе ты был?

— В двенадцать часов. В десять у них что-то для малышей было — я не пошел.

— А потом почему домой не пошел?

— Я еще один фильм хотел посмотреть. «Погоня». На восьмичасовом сеансе. Я решил, раз уж я здесь, то посмотрю. Ну, пошел, в парке погулял, по набережной. Зашел в универмаг.

Всехсвятский думал: голос у него какой низкий, глубокий. Отец говорил — в самодеятельности участвует. В драмкружке, наверное, Фамусова играет, городничего...

— Марки собираешь? — спросил он.

— Нет.

— А скажи мне теперь вот что, Геннадий...

За несколько минут в скверике многое изменилось. Исчезли малыши, появились парочки — высокие девушки и юноши с полудетскими лицами. Они мельком поглядывали на Всехсвятского, на Геннадия, но им было не до них — они были заняты друг другом.

— Скажи мне вот что: в том кино есть телефон-автомат?

— Есть. Но я в тот день не звонил.

— Точно?

— Точно. Хотел позвонить, не буду врать. Но не позвонил.

— А почему?

Геннадий пожал плечами. Потом сказал:

— Какой-то хмырь там звонил. Я теперь понимаю — ваш кадр. Но я и тогда подумал. Все зыркал, зыркал глазами... А потом позвал к телефону Никодима Ефимовича.

(Когда потом Всехсвятский говорил об этом с Никулиным, Никулин сказал:

— Вот это вы и называете — приманить удачу, да? Тычешься во все двери, даже проби-

ваешь новые, а потом она вроде сама дается в руки.

— Чтот-ты! — сказал Всехсвятский.— Разве я приманивал? Тут и манить почти не пришлось. Бывает, семь пар железных сапог сносишь, пока эту самую птичку выманишь, удачу! А тут — сама в руки, когда и не ждал.)

Всехсвятский спросил:

— А какой он из себя был, этот...

— Да ну! Вы же сами знаете!

— Ну, и что же дальше было?

— А ничего. Я и в кино не пошел. Поехал к Гриньке Бондаревскому, а потом домой.

— Так,— сказал Всехсвятский.— В котором же часу ты попал к этому... к Бондаревскому, не помнишь?

— Помню. В семь. Я так и рассчитал, чтобы к этому времени. Потому что он в бассейн ходит. по субботам, с четырех до шести. Ну, я рассчитал, к семи он как раз приедет, покушает....

— А где он живет?

— За два дома от меня. На кольце двадцатки, потом пройти. А бассейн...

— Погоди. Сколько ехать из кино до кольца?

— Ехать минут двадцать, наверное. Да пока дойдешь, к троллейбусу, от троллейбуса...

— В общем, получается — ты в кино зашел примерно в половине седьмого или немного раньше?

— По моим часам — в восемнадцать двадцать, по ихним — в восемнадцать тридцать. Но они по своим часам живут. Да хмырь ваш может вам подтвердить, вы проверьте. Он тоже — на свои часы смотрел, да на ихние. Все сравнивал.

— Как он был одет?

Геннадий фыркнул пренебрежительно:

— Вам лучше знать. Я на такие вещи внимания не обращаю.

— А почему же ты решил, что он наш кадр?

— Я ж вам сказал. Все время на меня так... зыркал. И все норовил стать спиной. В общем, с той самой минуты я уже знал, что вы за мной ходите. И мне стало, знаете, все до лампочки... А, думаю, позвоню, пускай меня он прямо отсюда и берет. Но в это время он сам позвонил — чтобы меня завести, наверное. Зовет Никодима этого, а сам на меня смотрит... И мне так противно стало, я и ушел.

— Интересно! — сказал Всехсвятский задумчиво.

— И очень! — согласился Геннадий.— Ведь если бы вы меня так усердно не ловили, поймали бы настоящего преступника.

— Мгм!

— А то! Агент, если б не за мной следил, а за парадной той самой... Где убийство произошло... А тут — погнался за зайцем, а слона не приметил.

— Вон, значит, как ты рассуждаешь!

— А то! И так всегда из-за крохоборства.

— Эх, Яковлев! — сказал Всехсвятский.— И до чего же ты, Яковлев, масштабно мыслишь! И до чего же у тебя, Яковлев, широкий взгляд на вещи!

— Если вам охота издеваться...

— Ну, зачем же издеваться! Я только вслух сказал то, что ты сам о себе думаешь. Разве нет?

— Не знаю... Нет....

— Да ну, не прибедняйся. Просто, когда другой это говорит, то у тебя является сомнение. А вот что я хотел тебя спросить: приходило тебе в голову, что эта твоя шутка далеко может завести?

— Это была не шутка,— сухо сказал Геннадий.

— То есть ты собирался убить и честно предупреждал?

— Нет, и не это. Да вы не поймете!

— Объясни — попробую понять! — попросил Всехсвятский.

— Вот тон у вас иронический, и не хотите, а иронический. Я хотел, чтобы... В общем, я... Он сволочь был, вы знаете это, нет? Хотя и говорят — о мертвых ничего плохого, но об этом я все-таки скажу. Вы знаете, что из-за него мой отец пострадал? И знаете, как? Ну, хорошо, допустим вы знаете, но вы-то думаете, может быть, что отец был в чем-нибудь виноват? А я-то его знаю, и как мы живем, знаю, и что тратим, а у нас обыск делали и искали какие-то суммы, или, может, золото, шут его знает... И уже тогда — я, конечно, пацан был, ничего не понимал, но я уже тогда подумал: ну, если бы знать, кто во всем этом виноват. А потом, когда отец вернулся, и я узнал... Ну, я решил психологически... Я им всем хотел... Чтобы они все знали... Я про себя решил: я всю жизнь буду так им звонить. Как голос совести, понимаете? Раз уж у них совести нет...

— Знаешь, что? — сказал Всехсвятский, внезапно останавливаясь.— Одно тебе скажу: виной всему, что получилось с твоим отцом, был вовсе не Соколовский. Можешь не пялить на меня глаза, я знаю, что говорю. Я знаю, кто был во всем виноват, но тебе не скажу, и не рассчитывай, потому что рано тебе еще брать на себя... ну, то, что ты берешь.

— Вот все так говорят: рано, рано,— пробормотал Геннадий.— А потом оказывается уже поздно.

— Бывает,— согласился Всехсвятский.— Мы с тобой об этом еще поговорим. Так все-таки, как был одет тот, кто за тобой следил?

— А никак. Пальто, шапка... Как все...

— Узнал бы его, если бы пришлось?

— А зачем вам? Может, и узнал бы. Сперва-то мы с ним все друг от друга прятались. А потом я уж захотел посмотреть, какие у нас теперь шерлокхолмсы.

— Ну, и как? Понравился?

— Ничего, по виду не скажешь.

— Вот автомат,— сказал Всехсвятский.— Звони домой. Скажи, что ты задержишься, чтоб не беспокоились.

Геннадий посмотрел на него и покачал головой.

— Мне у них веры нет,— сказал он.— Звоните сами.

Всехсвятский позвонил и сказал слабому, надтреснутому голосу, который ему ответил, все что следовало. Голос, прерываясь, спросил: нельзя ли отпустить мальчика домой пообедать. Всехсвятский обещал, что сам накормит парня и заверил, что все в порядке, Геннадий к вечеру будет дома.

Они постояли на остановке, ожидая такси — ждать пришлось недолго. И в такси Всехсвятский вдруг обнаружил, что не знает, куда, собственно, везти парня обедать. Не в ресторан же! И не в самообслужку с пельменями.

— В «Север»,— сказал он шоферу.— Не возражаешь? — обратился он к Гене.

Тот крутанул головой: мне, мол, все равно.

Но в «Севере», за блинным пирогом и сбитыми сливками он несколько оттаял и спросил:

— А до чего, по-вашему, я еще не дорос? То есть, я понимаю общий смысл. Но вы хотели сказать какое-то слово и не сказали. Вы сказали, что я много на себя беру, в общем, в этом смысле.

— Понял. Ну, что ж, я хотел сказать, что ты берешь на себя роль правосудия. Этакий юный мститель. А сейчас время для этого неподходящее. Для правосудия знаешь, что прежде всего нужно?

— Наверное, знаю, но, наверное, это не то, что знаете вы.

— Ладно, я скажу первый. Информация нужна, ясно? Полная, всесторонняя информация...

— И все?

— Не все, но это — обязательное условие. А когда не располагаешь такой информацией, то рискуешь...

— Рискуешь попасть в непонятное. Так мой отец говорит.

— Рискуешь чужой жизнью, вот как в твоем случае вышло. Ты что, не понимаешь? Конечно, это спокойнее, чем рисковать своей. Сиди, сиди, дуэли у нас отменены, ты лучше слушай.

— Вам кажется, что вы можете меня оскорблять. А вы ведь ничего обо мне не знаете. Вы тоже, как все: вот вам все дано... чего же вам еще? А главное, вы нам не верите.

— Кто — вы? Кому — нам?

— Даже родители не верят. Они знаете, что думают? Они думают, что это я... Ах, да ладно! Я когда узнал, что так все случилось, сам хотел к вам идти.

— Что же не пришел?

— Отец не велел... Он сказал, что вы со мной и разговаривать не станете, потому что я еще дэшэ. Ну, дэшэ — до шестнадцати. Что в управление идти — паспорт надо, а у меня еще паспорта нет. Ну, а вы его за меня, видно, отвалтузили, что не умел воспитать. Оно ничего мне не говорит, но я уж понимаю.

Всехсвятский смотрел на него, ничего не говорил, постукивал по столу пальцами. Потом сказал:

— Предмет у вас ввести надо. Хоть факультативно надо ввести. Понятие о советском праве. Ты, например, знаешь ли, что ты правонарушитель? Не говоря ни о чем другом прочем, только за твои телефонные звонки? Ведь это статья. Статья уголовного кодекса. Не знал?

— Не знал.

— Вот то-то. И все от юридической безграмотности. Р-романтика! Монте-Кристо!

— Почему Монте-Кристо!

— Обдумал все, решил лично покарать виновных. И занялся телефонным хулиганством. А преступник этим хулиганством воспользовался. И вот убит человек. Ленинградец, год рождения — незабываемый девятьсот девятнадцатый. Все, что положено было в жизни этому призыву,— все пережил. Ты когда-нибудь почитай историю, да сообрази, что на его долю досталось. И вот из-за тебя убили его. Ладно, не отвечай мне. Ты сейчас не то что нужно ответишь. Ты потом будешь отвечать, когда я тебя вызову. А теперь я пойду по телефону звонить, а ты пей кофе.

Всехсвятский набрал номер Никулина и сказал, что просит подать к «Северу» легковушку, немедленно.

— Водителя отпущу. Пусть только подаст машину, так и передай. Кто у нас сегодня, Ивинский, нет? Вот так и передай Ивинскому. Надо предпринять одно оперативное действие.

Вернувшись, он сказал Геннадию.

— Я виноват, аппетит тебе испортил. Даже кофе не выпил.

— Ничего,— сказал Геннадий.— Так даже лучше.

— Тогда пошли. Больше я с тобой душеспасительных разговоров вести не буду. Мы с тобой лучше покатаемся по городу.

Они вышли. Всехсвятский подошел к бежевой «Волге» и сел на водительское место. Геннадий полез в машину, ни о чем не спрашивая. Они ехали молча, Геннадий смотрел в окно: под белым, улегшимся снегом четко обрисовывались контуры мостов и зданий. Он спросил:

— Вы меня сегодня посадите?

— Я тебя в одно место везу,— отозвался Всехсвятский, словно не расслышав.— Мы должны подождать одного человека.

Всехсвятский подогнал машину к самому тротуару, впритирку, откинулся на спинку сиденья и сказал:

— Нам надо захватить того парня, который... Ну, в общем, с которым вы тогда в кино в прятки играли. Он должен из этого дома выйти. Сядь на мое место. Когда увидишь его, толкнешь меня. А я покуда подремлю.

Он вышел из одной дверцы, вошел в другую, сел и тотчас же закрыл глаза, погрузился в послеобеденную дремоту.

Прошло минут пять. Геннадий, ни к кому не обращаясь, сказал:

— А если я его не узнаю?

— Узнаешь,— сказал Всехсвятский, не открывая глаз.

Он вовсе не был в этом так уверен. Но все-таки....

Еще несколько минут прошло, длинных, полных всеми своими секундами, как стручки горошинами. Всехсвятский ощутил робкое прикосновение к своему локтю, открыл глаза, посмотрел на тротуар и сказал:

— Ничего не выйдет. Пропусти-ка, я пролезу на свое место.

— Отчего вы? Разве это не он был, с девушкой?

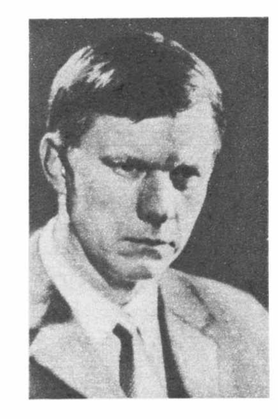
— Он,— сказал Всехсвятский, включая скорость.— Он, конечно. Но, как ты правильно подметил, он с девушкой, а мне его одного надо. А теперь я тебя доставлю домой. И скажи своим родителям: сажать мы тебя не будем, хотя стоило бы. Но тут я беру на себя все, потому что имею право. Ответа не нужно. Отвечать будешь в управлении, когда я тебя вызову, чтобы прочистить мозги.

Окончание следует.

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ

М. В. АЛПАТОВ

М. Л. БИЕШУ



В. В. БЫКОВ

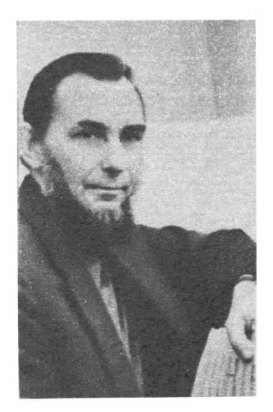
О. Н. ЕФРЕМОВ

Н. Ю. ИГНАТОВ

К. Ш. КУЛИЕВ

Л. Н. МАРТЫНОВ

А. К. НУРПЕИСОВ

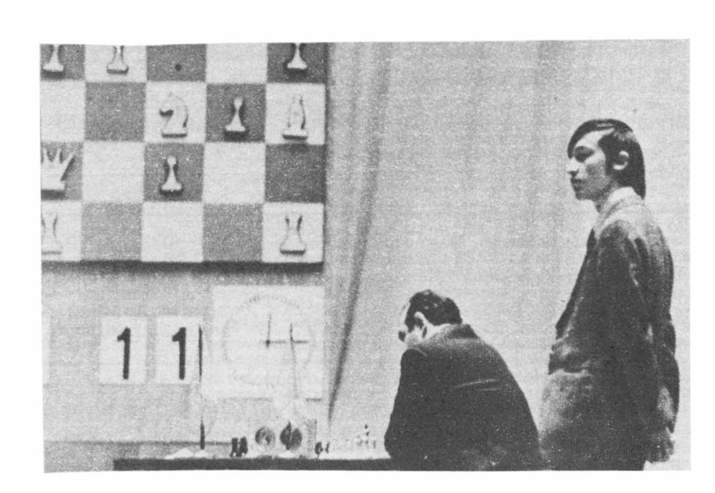


В. Р. ТОРМИС

К празднику Великого Октября состоялось присуждение Государственных премий СССР 1974 года. В числе лауреатов в области литературы, искусства и архитектуры: АЛПАТОВ Михаил Владимирович, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения, действительный член Академии художеств СССР,— за труды по истории русского и советского искусства: «Этюды по истории русского искусства», «Сокровища русского искусства XI—XVI вв. (живопись)», «Андрей Рублев»; БИЕШУ Мария Лукьяновна, народная артистка СССР,— за концертную программу, посвященную 50-летию образования СССР, и исполнение партий в операх «Героическая баллада» А. Стырчи, «Трубадур» Д. Верди, «Евгений Онегин» П. Чайковского; БЫКОВ Василий Владимирович, писатель,— за повести «Обелиск», «Дожить до рассвета»; ЕФРЕМОВ Олег Николаевич, народный артист РСФСР, режиссер,— за спектакль «Сталевары» в МХАТ СССР им. М. Горького; ИГНАТОВ Николай Юльевич, художник,— за монументальные росписи «Песнь о Грузии» в Пицунде и «Посвящение Пиросмани» в г. Тбилиси; КУЛИЕВ Кайсын Шуваевич, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР,— за сборник стихов «Книга земли»; МАРТЫНОВ Леонид Николаевич, поэт,— за сборник стихов «Гиперболы»; НУРПЕИСОВ Абдижамил Каримович, писатель,— за трилогию «Кровь и пот»; ТОРМИС Вельо Рихович, заслуженный деятель искусств Эстонской ССР, композитор,— за произведения для хоров: «Слова Ленина», «Баллада о Маарьямаа», «Заклятие железа».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Сало ФЛОР,
международный гроссмейстер



Когда пишутся эти строки, Анатолий Карпов и Виктор Корчной закончили двадцать партий и вышли на финишную прямую. Сегодня, разумеется, неподходящий момент заниматься прогнозами, рановато подводить спортивные и творческие итоги. Все будет точно известно, когда читатель получит в руки этот номер журнала «Огонек».

Сегодня хочется просто напомнить ход борьбы, а любителям статистики (их ведь много) сообщить некоторые цифры.

Как известно, Карпов в энергично проведенной второй партии матча открыл счет — 1 : 0. В шестой он увеличил разрыв до 2 : 0. Потом последовала рекордная серия из десяти ничьих! Процент ничьих после 20 партий составляет 80 — многовато, не правда ли?

Ничейная серия была прервана в семнадцатой партии. Это была крайне напряженная игра с сенсационным результатом. Сенсационным потому, что впервые в этом матче один из участников — Корчной — проиграл свою «подачу». Счет стал 3 : 0 в пользу Карпова, и вот наконец-то, в девятнадцатой партии, Корчному удалось сломить упорнейшее, цепкое сопротивление молодого Карпова и одержать победу над ним. Так счет стал 3 : 1 при 16 ничьих!

Матч длится уже 55 дней. В течение двадцати партий Карпов и Корчной сделали 1 021 ход (большинство хороших!). Они провели за шахматной доской 117 часов. Из них Карпов продумал 53 часа 30 минут, а Корчной израсходовал 63 часа 30 минут. Достаточно назвать эти цифры, чтобы вспомнить, что Корчной часто (а точнее, слишком часто) попадал в цейтнот, но только один раз, в шестой партии, просрочил время, причем уже в безнадежной позиции.

Карпов во всех десяти партиях, играя белыми, начинал ходом 1. e2 — e4, на что Корчной после неудачи в сицилианской защите и русской партии семь раз вел диалог на французском языке и один раз на испанском — причем все эти беседы закончились мирно.

Корчной пять раз начал игру ходом c4, но затем перешел на Kpf3 или d4, и единственную победу Корчному принесла ферзевая пешка.

Карпов одержал все три победы в день тура — без доигрывания, победа Корчного решалась после продолжительного доигрывания.

Карпов одержал одну победу в Колонном зале Дома союзов и две — в зале имени Чайковского. Корчной отложил девятнадцатую партию в зале имени Чайковского и закончил ее успешно в Центральном шахматном клубе СССР. В Доме литераторов зрители видели лишь табличку «Ничья».

Самый счастливый день для Карпова — среда: он выиграл две партии, а одну победу он одержал в пятницу. Корчной зафиксировал свою победу в день доигрывания — во вторник. В остальном, по понедельникам шел сильный ничейный дождь.

Во время игры Карпов и Корчной ни разу не подкреплялись даже бутербродами и пили чай, кофе, а Карпов также соки.

Пошла последняя шахматная неделя. Несомненно, что страсти в зале имени Чайковского будут бушевать до последней минуты.

Эти слова, написанные в воскресенье, звучат еще убедительнее, если прибавить, что в понедельник Корчному удалось одержать вторую победу и сократить разрыв до минимума. В двадцать первой партии Карпов допустил грубый зевок и уже после девятнадцати ходов вынужден был капитулировать.

Фото А. Бочинина.

ПОЗЫВНЫЕ СЕРДЦА

Многие книги Воениздата отличает одно постоянное достоинство: авторы их — участники событий, о которых идет речь в повествованиях. В этом смысле небольшая, искренняя книжка В. П. Шиманского — еще одно тому подтверждение. В начале войны младший лейтенант, к концу ее — капитан, радист Всеволод Шиманский всегда был со своей рацией там, где в эту минуту связь нужнее всего. А известно, какое на войне это место — передовая. Офицер связи Шиманский был прикомандирован к танковым частям. Вот почему так много теплых слов в книге о танкистах, о 116-й отдельной танковой бригаде, о ее солдатах и командирах, о тех, с кем делил автор горести войны и праздновал самую большую радость — Победу. И о тех, кто погиб, сражаясь за нас с вами, за Родину.

Книга В. Шиманского о пережитом. Она насыщена фактами, населена живыми характерами, которые позволяют представить себе те годы — с сорок первого по сорок пятый. В книге много эпизодов, похожих на сжатые пружины; за немногословием строк и абзацев — большие дела, неожиданные события, их нельзя выдумать, их можно только прожить.

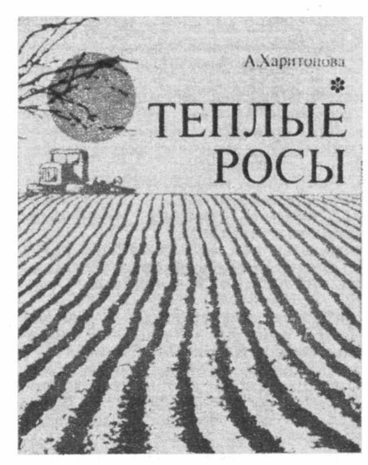
«...На плацдарме,— пишет автор,— наступило относительное затишье. И в те дни произошло событие, о котором потом долго еще вспоминали в бригаде». Стало известно, что в реке, возле которой остановилась часть,— танки. Решили поднять их. В обрывистых берегах проделали выходы. Каждую машину вытаскивали три тягача. Одиннадцать тридцатьчетверок были приведены в порядок, составили роту, она славно повоевала.

Как, почему танки оказались затопленными? Об этом автор узнал уже после войны. Случай свел его с шофером С. И. Жуковым, разговорились. Сергей Иванович рассказал, как их часть летом 1942 года с тяжелыми боями отходила на восток. Дошли до Дона. Переправы не было. Танкисты отчаянно дрались, но силы были неравны, боеприпасы и горючее кончились. И тогда решили спрятать машины на дне реки...

Не знаю, вел ли офицер Шиманский дневник, а потом по его страницам писал эту книгу, или это зарубки на сердце, его позывные? Всегда звучащие в сердце фронтовика позывные. Память сердца!

К. БАРЫКИН

В. П. Шиманский. Позывные наших сердец. М., Воениздат, 1973, 160 стр.



ТЕПЛЫЕ РОСЫ

Сборник очерков журналистки Анны Харитоновой рассказывает о людях советской деревни, о том, как любят они свою землю и трудятся на ней, о новом селе.

В центре внимания автора — наш современник. Это и пережившие тяжелые годы войны, умудренные опытом председатели колхозов Иван Ильич Захаринский и Павел Федорович Сародоев, оленевод Петр Никитич Артеев и директор совхоза Омар Османов. Это и молодое поколение, унаследовавшее лучшие традиции отцов, но уже шагнувшее дальше их,— победитель областного соревнования молодых шоферов Андрей Свекольников, щедрая на доброе слово и дела почтальон Мадина Салахеева, вожак совхозной молодежи Роман Гладыш и многие другие юноши и девушки, чьими делами по праву гордится комсомол.

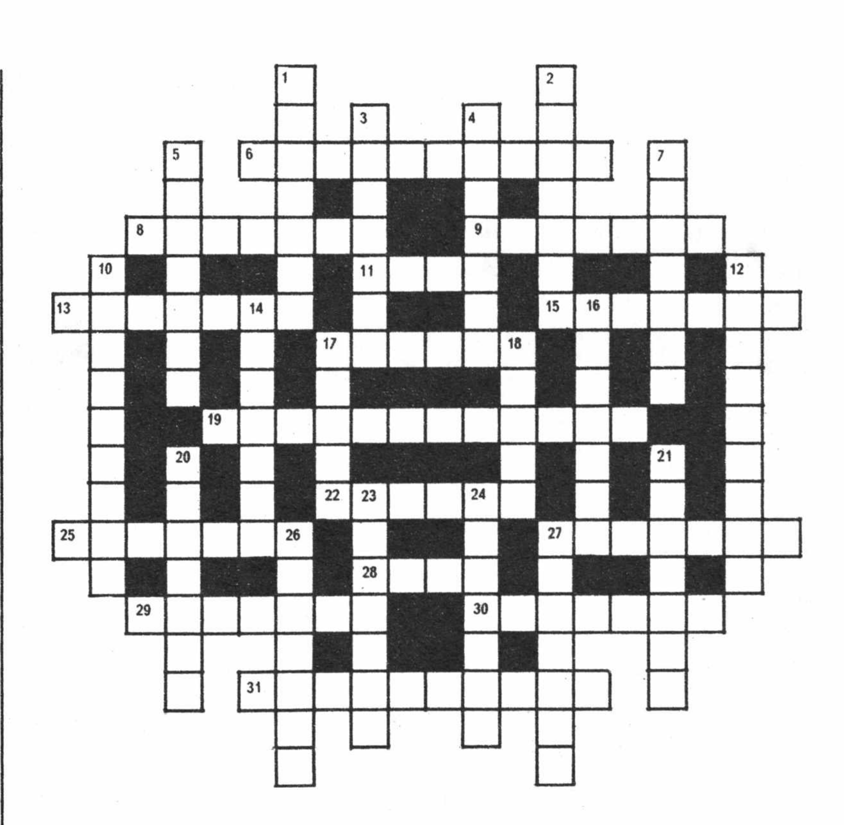
Прочувствованность характеров и судеб невыдуманных героев книги заставляет читателя поверить в их душевное богатство, удивительную скромность, героизм духа, в котором главное — радость труда.

В очерках, посвященных комсомольцам, особенно отчетливо и ясно звучит эмоциональный настрой, гражданский пафос самого автора. Специальный корреспондент газеты «Сельская жизнь» Анна Харитонова, так сказать, по долгу службы побывала во многих уголках нашей страны и со знанием дела пишет о том, что особенно дорого и близко ей в людях труда. Ее очерки не просто описание и изложение отдельных фактов, это сопереживание судеб, характеров, трудовых подвигов. Естественно, что журналистский пафос здесь созвучен пафосу труда тех, о ком А. Харитонова пишет.

В предисловии к сборнику лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда поэт Петрусь Бровка пишет о героях, населяющих «Теплые росы»: «Все они без исключения (такова направленность авторского пера) влюблены в свое дело. Ни разу не произносит автор слов «душевная щедрость», но вся книга об этом».

И. ПАДЕРИН

А. Харитонова. Теплые росы. М., «Молодая гвардия», 1974, 208 стр.



КРОССВОРД

По горизонтали: 6. Русский живописец XVIII—XIX веков. 8. Горный массив на Кавказе, возвышающийся над Гагрой. 9. Край дороги. 11. Денежная единица Ирана. 13. Математическое положение, требующее доказательства. 15. Гимнаст и эквилибрист в цирке. 17. Рыбацкая лодка. 19. Форма глагола. 22. Действующее лицо пьесы А. Н. Островского «Бесприданница». 25. Выступ на ключе. 27. Грузинский щипковый инструмент. 28. Созвездие южного полушария неба. 29. Картина с объемным первым планом. 30. Озеро на Кольском полуострове. 31. Опера Ю. А. Шапорина.

По вертикали: 1. Железнодорожная тележка. 2. Персонаж романа А. А. Фадеева «Молодая гвардия». 3. Птица отряда куриных. 4. Луговое растение. 5. Неожиданный подарок. 7. Река в Кемеровской области. 10. Великий русский поэт. 12. Город в Австрии. 14. Обширное пространство суши, омываемое морями и океанами. 16. Русская народная песня. 17. Часть парашюта. 18. Хвойное дерево. 20. Гидротехническое сооружение. 21. Газ. 23. Литературный кружок в Петербурге, в котором участвовал А. С. Пушкин. 24. Остров в Средиземном море. 26. Рассказ А. И. Куприна. 27. Глубокая вспашка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 46

По горизонтали: 7. Этикетка. 8. Византия. 9. Литке. 10. Депо. 11. Шпиц. 12. Лион. 14. «Амок». 16. Мартос. 17. Лавсан. 18. Ферма. 19. Зубило. 22. Ремарк. 25. «Аида». 27. Снег. 28. Гран. 29. Нера. 30. Барий. 31. «Перикола». 32. «Канитель».

По вертикали: 1. Виньетка. 2. Вертолет. 3. Радиан. 4. Свекла. 5. Батюшков. 6. Стотинка. 13. Оксфорд. 15. Меларен. 20. Увертюра. 21. Иванушка. 23. Магнолия. 24. Родригес. 26. Анабас. 27. Сливки.

На первой странице обложки: Сами Сафаров, бригадир строителей Нурекской ГЭС.

На последней странице обложки: Серпантины и мальвы — путь на Памир.

Фото А. Гостева.

Адрес редакции: 101456, Москва, А-15, ГСП, Бумажный проезд, 14.

Рукописи не возвращаются.

Оформление А. А. КОВАЛЕВА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — 253-38-61; Отделы: Репортажа и новостей — 253-37-61; Международный — 253-38-63; Социалистических стран — 250-24-21; Искусств — 250-46-98; Литературы — 253-38-26; Военно-патриотический — 250-15-33; Науки и техники — 253-31-47; Юмора — 253-39-05; Спорта — 253-32-67; Фото — 253-39-04; Оформления — 253-38-36; Писем — 253-36-28; Литературных приложений — 253-38-52, 253-32-45.

Сдано в набор 28/X—74 г. А 00665. Подп. к печ. 12/XI—74 г. Формат 70×108 1/8. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Изд. № 2684. Тираж 2 070 000 экз. Заказ № 2941.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

ИЗ ОСЕНИ В ЛЕТО

А. ГОЛИКОВ,
Б. КУЗЬМИН,
специальные корреспонденты «Огонька»

Теплоход «Узбекистан» отправляется в очередной рейс из Одессы до Батуми и обратно по Крымско-Кавказской линии Черноморского пароходства. Мы стоим на палубе, укрывшись от косого осеннего дождя, и разглядываем мокрый причал, белые гребешки волн за маяком. В такую погоду морской простор не манит. Пожалуй, лучше бы купить билеты на самолет? Но раздумывать поздно. По судовому радио звучит приказание: «Палубной команде занять места по швартовому расписанию!»

Еще не скрылась из глаз Одесса, а пассажиры уже осваивают теплоход. И, как всегда в дороге, быстро завязались знакомства, начались разговоры.

— Всю жизнь мечтала о путешествии по Черному морю и собралась осенью,— сетовала пожилая женщина.— Вон какой дождь хлещет!

— Пустяки, — утешал ее сосед. — Плывем-то на юг, вслед за летом, и завтра его догоним.

И тут, конечно, разговор оживился.

— У меня отпуск всегда осенью, такая уж работа,— говорит невысокий человек средних лет,— а я третий год подряд здесь плаваю. Отличный, скажу вам, отдых.

А бородатый парень в потертых джинсах застенчиво улыбнулся:

— Собираюсь на каждой стоянке рыбку ловить, удочки с собой везу.

Его перебивает крупный мужчина мрачноватого вида, в зимнем пальто и шляпе.

— Мне морскую поездку врачи присоветовали, от нервов,— басит он,— а тут суета, пустые разговоры, вот даже рыбку ловить собираются. — Он неприязненно взглянул на бородатого парня и ушел.

— Чем его обидел?— развел руками тот.

— Сказал же человек: нервы, не обращайте внимания,— успокоили его и опять заговорили о море и об осени. Только молодожены, совершающие свадебное путешествие, не принимали участия в беседе. Они держались за руки и неотрывно смотрели друг на друга. Время года для них не имело значения...

Уже первое знакомство с нашим «Узбекистаном» оставляло самое приятное впечатление. Каюты удобные, комфортабельные. Салон, бары — их на теплоходе два, ресторан, а особенно внимательное отношение к пассажирам обслуживающего персонала и моряков создавали ощущение уюта, покоя, непринужденной домашности.

— На борту нашего судна иначе и быть не может,— говорит капитан теплохода Владимир Михайлович Рева. — Ведь мы экипаж коммунистического труда.

Потом Владимир Михайлович рассказывает о своем теплоходе: и строен-то он и изящен, а уж какой мореход — любой шторм не страшен. И даже качает на нем не так, как на других судах,— легко и приятно. Каждое лето на «Узбекистане» путешествуют туристы из ФРГ. Многие даже совершают этот вояж по нескольку раз. Для таких «заслуженных» на теплоходе учредили специальный приз: красивую узбекскую тюбетейку и бутылку шампанского.

Владимир Михайлович не просто романтик моря, но и весьма практичный капитан: его судно всегда выполняет плановое задание по перевозке пассажиров. И тут уж он мыслит четкими коммерческими категориями.

— Конечно,— рассуждает Владимир Михайлович,— сейчас во всем мире самолеты отбирают пассажиров у морского транспорта. Ничего не поделаешь: по скорости мы с авиацией спорить не можем. Но у пассажирских судов свои преимущества. Только они могут предоставить пассажиру такой комфорт. Прелести морского путешествия всегда будут привлекать людей. Море прекрасно во все времена года.

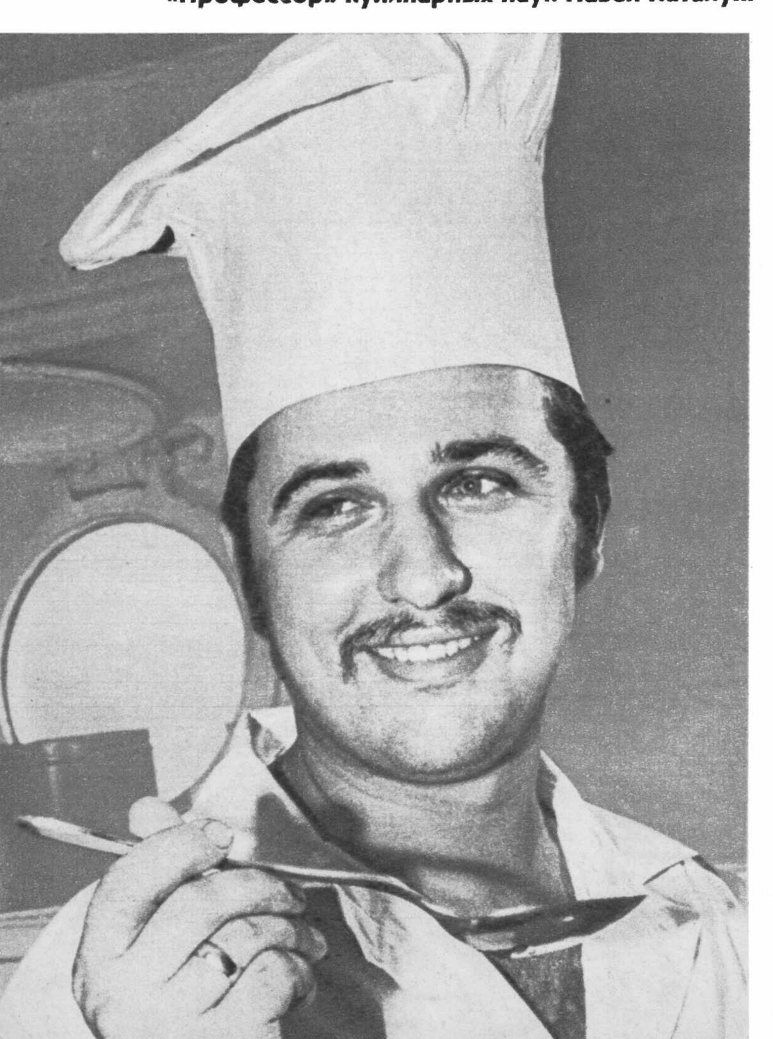
На другой день непогоды как не бывало. Солнце светит, море ласковое, лазурное. И чувствуешь себя, словно в доме отдыха на Черноморском побережье. Многие, устроившись в шезлонгах, а то и прямо на белоснежной палубе, загорают, кое-кто купается в открытом бассейне. Облокотясь на перила, беседуют бородатый парень и мрачный мужчина, который путешествует «от нервов». До нас доносятся слова парня: «Кефаль, скумбрия... В Батуми бычок прямо у причала берет... деликатесная рыба...» «Куплю в Ялте удочки, будем вместе рыбачить»,— басит мрачный... Нет, теперь он не мрачный, а веселый.

Судно идет вдоль берегов Крыма и Кавказа, а иногда и мористее. И это тоже интересно: какое же морское путешествие без открытого моря! Глядя на бескрайние просторы, можно вообразить себя настоящим путешественником и даже радостно воскликнуть: «Земля!» Каждый из черноморских городов колоритен и знаменит по-своему. С чувством гордости ступит пассажир на севастопольскую землю и поспешит поклониться памятнику ее защитникам. В Сочи он окунется в веселую и беззаботную жизнь знаменитого курорта, а в Батуми, в самом южном порту страны, вволю налюбуется буйной растительностью субтропиков.

Журчит морская волна, рассекаемая острым форштевнем «Узбекистана». Белоснежный лайнер бежит и бежит, оставляя за кормой солнечные мили, увозя своих пассажиров от осенней непогоды в знойное южное лето...

Солнце, воздух и вода...

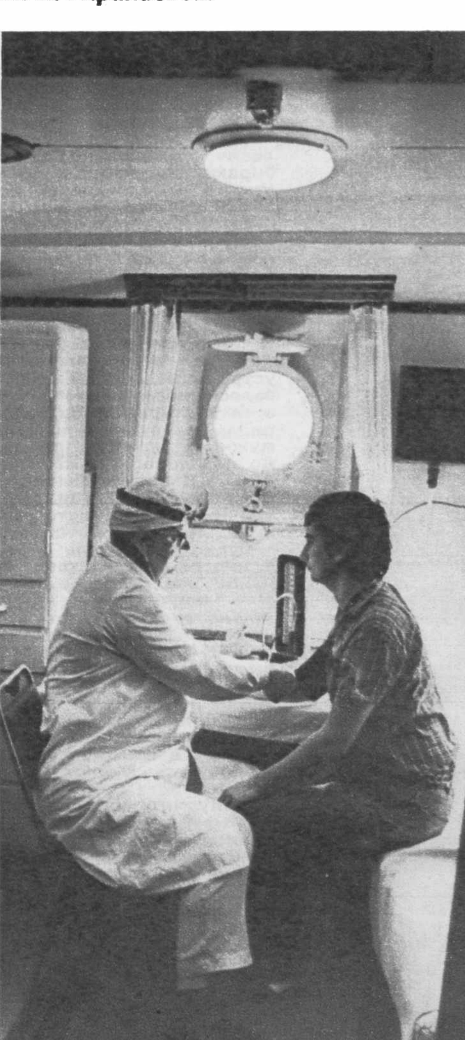
«Профессор» кулинарных наук Павел Каталуп.



Старший помощник В. В. Чернышев возле созданного им корабельного «Нептуна».

Этот «пассажир» тоже поплывет в Батуми.

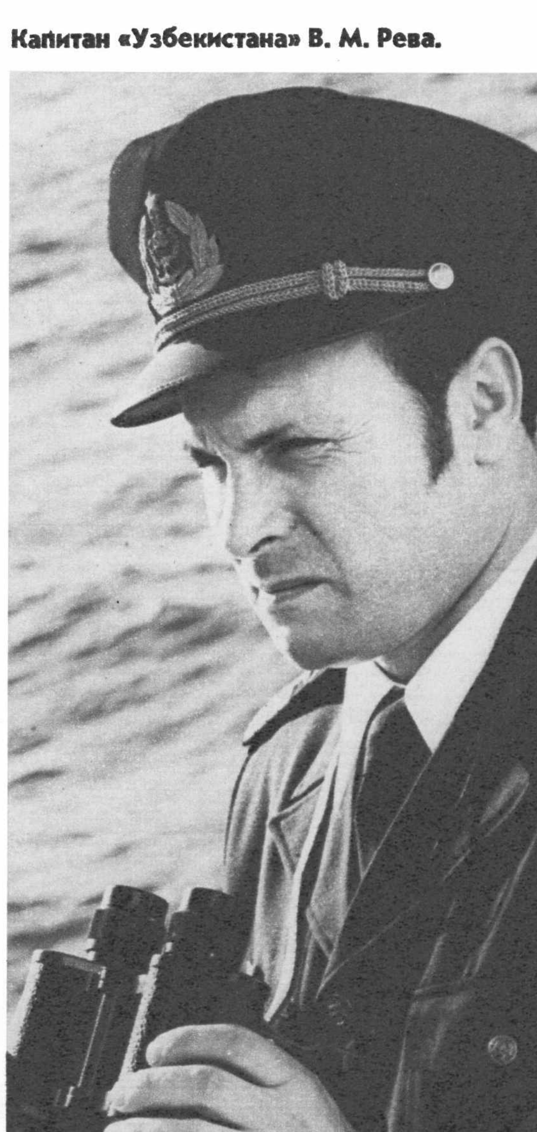
«Морской воздух вам полезен!» — говорит судовой врач А. Х. Афанасьев.



Лариса Ковбий — хозяйка кают.

Начальник радиостанции теплохода А. С. Шебаршин.

«Узбекистан» в Батуми.



Капитан «Узбекистана» В. М. Рева.

Цена номера 30 коп.
Индекс 70663